



И.И. Панаев

Сочинения



Иван Иванович Панаев

Великосветский хлыщ (Опыт о хлыщах)

«Я знаю лет двадцать Грибановых. Отличнейшее семейство и притом с артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляют жизнь этого семейства. Оно совсем погружено в изящное. Всякий артист, какой бы маленький талант ни имел, в какой бы крошечной сфере ни действовал, хотя бы только искусно играл на балалайке, наверно будет принят в этом почтенном семействе с распростертыми объятиями...»

Содержание

- Глава I. Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах 0006
- Глава II. О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами 0032
- Глава III. Биографический очерк барона Щелкалова, из которого наблюдательный читатель может догадаться, что такое подразумевается под словом «хлыщ» 0064
- Глава IV, в которой описывается прелесть дачной петербургской жизни, дачная природа и дачные препровождения времени и увеселения 0112
- Глава V, из которой проницательный читатель усмотрит многое, во-первых, что хлыщи бывают различных родов; во-вторых, что великосветские хлыщи в свою очередь робеют и иногда делаются неловкими; и в-третьих, что они разоблачаются и обнаруживают себя вдруг, совершенно неожиданно даже для самих себя, причем также вполне объясняется читателю значение не всеми употребляемого, но

приятного для слуха слова хлыщ 0157

**Иван Иванович Панаев
Великосветский хлыщ**

Глава I. Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах

Я знаю лет двадцать Грибановых. Отличнейшее семейство и притом с артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляют жизнь этого семейства. Оно совсем погружено в изящное. Всякий артист, какой бы маленький талантлик ни имел, в какой бы крошечной сфере ни действовал, хотя бы только искусно играл на балалайке, наверно будет принят в этом почтенном семействе с распростертыми объятиями. Литератор бежит туда читать свое новое произведение, еще не оконченное; художник показать свои эскизы, только что набросанные небрежно карандашом, и в которых ровно ничего разобрать нельзя, – и тот и другой уверены, что найдут глубочайшее сочувствие. Хозяин дома, с большим искусством вырезающий из бумаги силуэты; его свояченица, заменившая в доме умершую хозяй-

ку, превосходно лепящая цветы из воска; сын, пишущий стихи; дочь, занимающаяся живописью и музыкой, – все ахают и восхищаются, слушая новое произведение литератора и рассматривая новые эскизы художника, и потом повторяют своим знакомым в течение по крайней мере месяца, каждому по очереди: «Ах! какую повесть читал нам NN!..» «Ах! какие эскизы показывал нам Д. Д.!..» «Ах, сколько у них таланта!..» и проч. Доброта этих людей простирается до того, что они приходят в восторг от всякого, даже плохого произведения, если только оно в первый раз прочитано или показано в их доме. Правда, о произведениях замечательных и талантливых, которые не были им читаны или показаны, отзываются они хладнокровно, но это вследствие искреннего убеждения, что ни одно замечательное произведение не может не быть предварительно им известно, что все художники, поэты, музыканты, скульпторы, литераторы, певцы и певицы, знакомые им, – люди, непременно обладающие высокими талантами, и что те, которые не имеют этой чести, едва ли могут иметь и дарование. Нежная привязан-

ность друг к другу, соединяющая членов этого семейства, поистине замечательна. Отец обожает своих детей, дети обожают отца, тетка обожает племянника, племянник тетку... В этом доме все обожают друг друга. Если отец вырежет какой-нибудь новенький силуэтик, сын немедля приходит от него в восхищение и бежит к тетке.

– Посмотрите, – говорит он, – какую удивительную вещицу вырезал папенька, с каким вкусом, с каким изяществом, это просто художественно!

– Ах, какая прелесть! – восклицает восхищенная тетка. Если сын напишет стихотворение и прочтет его отцу и тетке, отец, пожимая плечами от удивления, со слезой на реснице восклицает:

– У, как это хорошо! Какой стих! Какая мысль! Я никогда ничего не слышал лучше этого!

И при этом голос отца задрезжит, умиленный, как порванная струна.

– Это маленький *chef-d'oeuvre*! – восклицает тетка, всплеснув руками.

Затем оба они, отец и тетка, закричат:

– Пелагея Петровна! Пелагея Петровна!

Приживалка, вроде ключницы, прибежит на этот крик, запыхавшись, но с приятной и подобострастной улыбкой, которая замерла на лице ее и которая не оставляет ее даже в самые горькие минуты ее жизни.

– Что прикажете-с?

– Послушайте-ка, матушка, – скажет отец, прищелкнув языком, – какие новые стихи написал Иван... лучше ничего не было написано на русском!

– Ах, какие стихи! – повторит тетка. – Пожалуйста, друг мой, не ленись, прочти еще раз.

И она нежно взглянет на племянника. Племянник мгновенно повинуется и начнет читать; отец между тем качает в такт головой во время чтения и, смотря на Пелагею Петровну, говорит:

– Слушайте, слушайте! (хотя та и без того благоговейно слушает, даже разиня рот от излишнего внимания). Каков стих-то! Каков стих-то. Замечаете, а?

И ударит по плечу Пелагею Петровну, а сам так и зальется слезами, хоть бы стихи бы-

ли комического содержания.

Вечером, когда явятся гости, сначала приживалка, разливая чай, шепнет непременно каждому на ушко: «Иван Алексеич написал новое бесподобное стихотворение!» Потом отец, не более как через четверть часа после приживалки, барабаня по столу, не утерпит и вдруг брякнет среди разговора вовсе некстати:

– Что, Иван ничего вам не показывал?

– Нет-с, – ответит гость.

– Заставьте его прочесть: он написал новое стихотворение... Это вещь капитальная, необыкновенно хороша! Из него вырабатывается что-то очень серьезное!

И открытое, добродушное лицо старика выразит столько счастья при мысли, что он произвел на свет такое гениальное дитя, что и гость, даже самый нечувствительный, невольно расчувствуется.

Тетка, в свою очередь, с свойственной ей любезностью и приятностью занимая гостей, не упустит ввернуть словцо:

– Я знаю, м-г такой-то, что вы любите поэзию или интересуетесь литературой (что-ни-

будь вроде этого). Ах! если бы вы знали, какое Иван Алексеич написал стихотворение! Мне, как родной, совестно хвалить, но вы сами услышите. Погодите, я его упрошу прочесть.

И она начнет искать глазами племянника. Но племянник вдруг как из-под полу выскочит перед теткой, сладко улыбнется гостям, посмотрит на них заискивающими глазами и скажет:

– Нет, тетушка, это, право, не стоит того, довольно слабая вещица, когда-нибудь после, не теперь.

Но тогда гости начинают приставать к нему:

– Пожалуйста, прочтите, сделайте одолжение, мы так много слышали...

– Ну почти же, братец, почти, – вскрикнет вдруг откуда-то появившийся отец.

Около поэта составитя кружок, и он начнет декламировать, изредка прерываемый восклицаниями: «Превосходно, прекрасно!» После декламации тетка отведет одного или двух гостей в сторону и произнесет шепотом: «Не правда ли, какой талант?» На что гостям ничего более не остается, как отвечать: «О,

удивительный!»

Иногда сын потащит гостей в кабинет отца и скажет им:

– Позвольте-ка, господа, я вам покажу чудную вещицу. Папенька вырезал недавно целый пейзаж.

И, входя в кабинет, он начнет рыться в портфеле отца, приговаривая:

– Куда это старик зарыл его? Не любит, чтобы смотрели... Чудак!.. да мы отыщем... погодите... Вот, вот, вот!.. Взгляните, как хорошо задумано, рассмотрите эту фигуру, сколько в ней выражения, а это дерево? Ведь это дуб, настоящий дуб!.. Вглядитесь хорошенько... Какое искусство!

И гости рассматривают и удивляются. В такие минуты всегда нечаянно входит отец:

– Иван, Иван, – говорит он, грозя ему пальцем, – что это, полно, братец: ну стоит ли это смотреть... Это так я, шалю на старости, от нечего делать.

– Помилуйте, – восклицают гости, – какая это шалость! Это чистейшее искусство!

– Оно-таки точно недурно, – заметит старик, постепенно увлекаясь, и продолжает уже

голосом, дрожащим от умиления, – вот обратите внимание особенно на эту коровку, что наклонилась к водопою... Поль-потеровская коровка-то! Сколько жизни в этом движении, заметьте, заметьте... Ах, кабы не лета, глаза уж служить отказываются, не то бы я еще сделал!

И у старика закапают слезы...

В квартире Грибановых, за исключением будуара и гостиной, устройством которых занимается Лидия Ивановна (так зовут тетку), совершенно артистический беспорядок: на столах валяются старые рукописи, исписанные стихами, клочки бумаги с различными вырезками, краски, книги, рисунки, и все это покрыто постоянно слоем пыли; но зато будуар и гостиная, это, так сказать, небольшие храмы изящного: занавесочки, этажерочки, куколки, деланный и настоящий плющ, гравированные картинки, коврики, вышитые подушки с кисточками, цветные фонарики, пресс-папье, бронзовые ручки, ножи для разрезывания книг, печатки – все это размещено с замечательным искусством на весьма малом пространстве. В одном только углу будуа-

ра груди воску и краски; этот угол Лидия Ивановна называет своим ателье. Лидии Ивановне лет под пятьдесят, но при вечернем освещении она кажется несравненно моложе своих лет, чему немало способствуют различные украшения ее туалета: пугольки, бантики, кружевца, цветочки, употребляемые в большом количестве. Она говорит обыкновенно голосом тихим, более подходящим на шепот, и недосказанное или недослышанное договаривает глазами, на которые, кажется, значительно рассчитывает, потому что эти глаза, по замечанию старожилов, производили большое впечатление... В выражении лица и во всех ее движениях необыкновенная мягкость, которую только злые языки называют лицемерной сладостью. Алексей Афанасьич (так зовут г. Грибанова) отличается простотою обращения, искренностью в речах и в манерах, совершенною бесцеремонностью, способностью от всего умиляться и постоянно слезящимися глазами. Он весь нараспашку для всех входящих в его дом... Ему и в голову не приходит, чтобы человек дурной, насмешливый или подозрительный мог перешагнуть

через порог его квартиры. Со всеми одинаково простодушен и приветлив, – он при всех, даже при посторонних дамах, является всегда по-домашнему: в затасканном сюртуке и в старых плисовых туфлях, с листом бумаги и с ножницами. Ему лет под шестьдесят; но он кажется старше своих лет, потому что не имеет ни малейшего поползновения бодриться и молодиться. В чертах его лица много приятности, которая невольно располагает к нему с первого взгляда. Он не вмешивается ни во что в доме, и если у него о чем-нибудь спрашивают, то обыкновенно отвечает: «Я не знаю, спросите у Лидии Ивановны». Он не распоряжается ничем, не располагает ни одною копейкою; все, что приобретает, он несет к Лидии Ивановне. Состояние их маленькое; но чтобы «прилично поддерживать себя», как выражается Лидия Ивановна, Алексей Афанасьич очень усердно трудится и служит, не имея ни малейшего расположения к службе и труду. Будь он один, он и не подумал бы о службе; зимой лежал бы себе целый день на боку да вырезывал бы свои силуэтики, а летом бродил бы по лесу за грибами. Свои слу-

жебные занятия он считает пустяками, а делом – вырезывание фигурок из бумаги, и хотя служебные занятия очень тяготят его, но он никогда на это не жалуется и никому не говорит, как это ему не по сердцу, для того чтобы не огорчать Лидию Ивановну. Разве иногда только, когда уж придется невмочь, когда его завалят делами, он вздохнет и промолвится приятелю: «Ах, если бы побольше средств, бросил бы все это и посвятил бы себя исключительно одному искусству. Ведь у меня все склонности артистические, ведь я рожден артистом!»

Для Алексея Афанасьича все знакомые равны; у Лидии Ивановны есть фавориты между знакомыми и между домашнею прислугой: она не может существовать без фаворитов. Сыну Алексея Афанасьича, Ивану Алексеичу, двадцать четыре года, но ему кажется лет под тридцать. Он не заботится о своей внешности, потому что весь погружен в свой внутренний мир, весь проникнут своим призванием. И Лидия Ивановна, вовсе не пренебрегающая внешностью, не только прощает ему его небрежность, но находит, что в нем это

иначе и быть не может, потому что все люди высших талантов, как известно, мало занимались своим туалетом... Она в этом случае совершенно справедливо рассуждает про племянника: «Он чудак, потому что все поэты немножко чудаки!» – и при этом с чувством родственной гордости прибавляет: «Поверите ли, он и галстуха даже повязать не умеет, я всегда сама ему повязываю галстух».

На этом молодом стихотворце, не умеющем повязывать галстух, основано все счастье, все надежды, вся гордость артистического семейства. Это блестящий талант, разливающий свой блеск на все его окружающее; центр, около которого группируются остальные семейные талантики. Он дает тон и направление всему семейству... Отец и тетка, заменившая мать, только отражают и распространяют его мысли. Те из знакомых, которые не безусловно разделяют этот образ мыслей и имеют неосторожность обнаружить некоторое противоречие, утрачивают обыкновенно доброе расположение почтенного семейства и причисляются к людям остановившимся, не способным идти вперед – просто к отсталым.

Чтобы пользоваться его постоянной благо-склонностью и радушием, чтобы прослыть в семействе за человека замечательного и умного, необходимо в каждый данный момент стоять в уровень с Иваном Алексеичем: останавливаться вместе с ним, идти вперед или отодвигаться назад. Но и отодвигаясь назад, уверять и себя и других, что двигаешься вперед и что те, которые в самом деле идут вперед, останавливаются или отодвигаются назад.

Приговор сына есть приговор окончательный для отца и для тетки. Он решил, что у сестры Наденьки недостает чувства (может быть, потому, что она не так восторгается его стихами, как остальные члены семейства), и они безусловно приняли этот строгий приговор, и никакие факты не разуверят их в противном. Отец, узнав об этом в первый раз, глубоко огорчился... «Ах, жаль, – думал он, – Наденька, моя девочка, славная и добрая, если бы у нее только чувства-то побольше, вот ее недостаток!» – «Но отчего же недостает у нее чувства? – робко в то же время шептал ему внутренний голос, – когда ты, например,

болен, она и днем и ночью ни на шаг не отходит от твоей постели, она так заботливо ухаживает за тобою...» Старик задумывается. У него слезы навертываются на глазах при воспоминании о том, что шептал ему внутренний голос. «Нет, что бы ни говорили, а у нее много чувства!» – продолжает смелее внутренний голос. Старику очень хочется поверить внутреннему голосу; но в эту минуту, как нарочно, подвертывается сын и начинает с большим красноречием и убедительностью доказывать, что такое чувство и почему именно у сестры недостает его. Старик мгновенно колеблется, слушая эти красноречивые речи; он заглушает внутренний голос и снова повторяет про себя: «Жаль мне, очень жаль бедную Наденьку!»

Наденьке девятнадцать лет. В лице ее много приятности и много выражения в небольших серых глазах. У нее есть голосок, и она недурно поет различные романсы, как-то: Я видел деву на скале, Цветок, Сто красавиц чернооких, Любила я, и проч. Она хорошо сложена и отличается от всех своих подруг простотою обращения и совершенным отсутстви-

ем тех прекрасных манер, которые в сущности не что иное, как жеманство и ломанье...

Все это я говорю в настоящем, хотя этому прошло много лет, но я как будто теперь вижу перед собою девятнадцатилетнюю Наденьку в белом кисейном платье с клетчатым шотландским поясом, беспечную и веселую, срисовывающую букет цветов с натуры, а против нее облокотившегося на стол молодого человека очень приятной наружности, внимательно следящего за движением ее кисти. Она по временам взглядывает на него, улыбаясь, и в эти минуты лицо молодого человека сияет счастьем. Мне всегда казалось, глядя на них, что они созданы друг для друга...

Я ездил в дом Грибановых раза два в месяц, по четвергам. Это были их дни. По четвергам сходились к ним самые близкие их знакомые, по большей части артисты и литераторы. Невозможно передать, какое радушие и гостеприимство царствовало в этом доме, сколько искренности расточалось со стороны хозяина, сколько любезности со стороны хозяйки, сколько предупредительности,

глубокомыслия и сладких улыбок со стороны сына. На этих четвергах всякий этикет был изгнан; каждый чувствовал себя как бы дома: гости являлись запросто в сюртуках, приводили с собой своих знакомых, не предупреждая даже об этом хозяев, и вновь представленные не более как через полчаса ощущали, будто они век знакомы в доме... Все засядут, бывало, за круглый стол, на котором дымится исполтинский самовар, закурят трубки и папиросы, и пойдут толки об искусствах и литературе. Кто-нибудь из присутствующих коснется поэзии, и при этом знаток русской словесности и отчасти литератор, по фамилии Пруденский, имевший в семействе репутацию отличного декламатора, вскочит со стула и с угрожающим жестом и густым басом декламирует новое стихотворение Ивана Алексеича, к несказанному удовольствию его папеньки и тетеньки, и, окончив декламацию, с тупою улыбкою обведет глазами собрание, сядет, и вслед за тем посыплется град восклицаний: «Превосходно! чудо! какие стихи и как вы декламируете!»

– Удивительно! – заметит Лидия Ивановна,

подкатывая глазки под лоб, – а вот наш Иван Алексеич совсем не умеет читать своих стихов.

– Нечего сказать, таки не мастер, – возразит Иван Алексеич, приятно усмехаясь.

– Зато уж писать мастер! – прибавит непременно Пруденский.

– Пишет-то недурно, нечего сказать, недурно, – промолвит с самодовольствием отец, взглянув на сына с чувством, и потреплет его по плечу.

А между тем приживалка Пелагея Петровна то и дело что наливает стакан за стаканом, так что пот градом льется из-под чепца ее; пар от самовара и дым от трубок и сигар гуще и гуще расстилаются по комнате, и в этом чаду трудно уже наконец разбирать лица. Между чаем и ужином Наденька сядет за фортепьяно, пропоет «Сто красавиц чернооких», а молодой человек, влюбленный в нее, станет сзади ее стула и дрожащей рукой начнет перевертывать ноты. Когда она кончит, Лидия Ивановна скажет ей, бывало: «Ну, довольно», кивнет головой и обратится к одной из постоянных посетительниц этих вечеров, барыне

лет под тридцать, одетой с необыкновенной изысканностью и беспрестанно поводящей плечами и передергивающейся:

– Аменаида Александровна, душечка, спойте нам что-нибудь... У вас такой прелестный голос. Je vous prie...

– Pour rien au monde, ma chere, я не в голосе, – обыкновенно возразит на это Аменаида Александровна, – я не могу.

– Полноте, полноте, матушка, вы всегда в голосе, – заметит Алексей Афанасьич, – садитесь-ка, садитесь-ка, что тут много толковать...

– Я вам говорю, что я не могу. Comme c'est drole!..

Тогда сын подойдет к Аменаиде Александровне и начнет упрашивать ее... Наконец барыня решится, встанет, сбросит с себя мантилью, обнажит свои плечи, обдернется и подойдет к фортепьяно. Здесь, впрочем, начнет-ся опять: «Ей-богу, я не могу, у меня болит горло; я не знаю, сколько времени я не пела», и тому подобное... Но дело всегда кончится тем, что барыня затынет:

Цветок засохший, безуханный... Или:

Коварный друг, но сердцу милый, – и проч. И с последней ноткой обратится к гостям: «Вот видите ли, я совсем не могу петь!» и коснется рукою до горла, как будто желая показать, что ей там мешает что-то. «Браво, браво», – воскликнет Алексей Афанасьич и захлопает в ладоши, посматривая на гостей и поощряя их к тому же. Тогда раздастся гром рукоплесканий, после которых Лидия Ивановна подойдет к Аменаиде Александровне, промолвит: «Восхитительно, *ma chere!*» и поцелует ее.

Время между тем движется понемногу. Вот уж и половина двенадцатого.

– А что, – заметит Алексей Афанасьич, потирая свой желудок и поглядывая на Лидию Ивановну, – не пора ли и закусить, что-то есть смертельно захотелось.

– Ну что ж? прикажите, – заметит Лидия Ивановна.

И тогда послышится гармонический для гостей стук тарелок и ножей. На круглом столе, на котором за три часа перед тем дымился чудовищный самовар, появится добрый кусок солонины, сыр, масло, грудa вареного карто-

феля, а на другом столике – водка и тарелка с солеными грибами.

– Ну-ка, господа, водочки... без этого нельзя, да закусите грибком-то, чудные грибки! Я сам собирал их! – воскликнет добродушный Алексей Афанасьич, наливая себе рюмку водки. – Садитесь, господа, садитесь... чем бог послал, не взыщите...

И все разместятся, теснясь друг к другу, за столом: дамы и более почтенные из мужчин ближе к тому краю, где Лидия Ивановна, а остальные около Алексея Афанасьича.

– Ах, какая солонина-то! – непременно заметит Алексей Афанасьич, приступая к ее разрезыванию, – посмотрите, посмотрите, сок так и льет, а жир-то какой, настоящий янтарь!

– Из мира фантазии перейдемте-ка, господа, к действительности, к существенному, – заметит Иван Алексеич, глядя с приятностью на гостей, указывая с жадностью на солонину и кладя себе на тарелку два огромных куска.

И в ответ на это домашнее остроумие всегда, бывало, раздастся добродушный смех.

Всякий четверг повторялось то же самое с

небольшими изменениями. Иногда только вдруг, ненароком появится какая-нибудь неслыханная певица и прокричит какую-нибудь итальянскую арию или невиданный дотоле сочинитель с какой-нибудь ассирийскою драмою...

Но раза три или четыре в год у Грибановых бывали большие собрания в день чьих-нибудь именин или рожденья. Тогда зажигались лишние лампы, гости мужского пола надевали фрак, наезжало большое количество девиц и дам, одетых по-бальному; также показывались два штатских генерала со звездами и один военный. В эти торжественные вечера, на которых даже сам хозяин являлся не в туфлях, а в сапогах, артистические занятия отлагались в сторону: молодежь танцевала под фортепьяно, а люди пожилые и чиновные и толстые барыни в беретах садились за карточные столы... Но и тут не обходилось без поэзии. В какой-нибудь дальней комнате, в конце коридора, куда танцоры изредка забежали затянуться, Иван Алексеич собирал вокруг себя небольшой кружок молодых людей, не танцующих, самых горячих любителей ис-

кусства, и декламировал им свои стихи. Молодые люди благоговейно слушали его, и если в комнату входил лакей Макар с подносом или забегала за чем-нибудь горничная, скрипя башмаками и дверью, молодые люди махали на них обыкновенно руками, шикали и потом на ключ запирали двери, чтобы уже никто не мог помешать их эстетическим наслаждениям.

На этих вечерах разносили обыкновенно мороженое, конфеты, яблоки и варенья, и увеселения оканчивались праздничным ужином. Ужин приготавливался человек на тридцать, но гостей обыкновенно являлось человек пятьдесят. Добрые и гостеприимные хозяева приходили в некоторое беспокойство и всё надеялись, не уйдет ли авось кто-либо из бездействовавших кавалеров до ужина, но эти кавалеры упорно держались в своих позициях, и на лице их можно было прочесть, что они именно только и ожидают ужина, что они явились единственно для ужина, что они в тоске по ужину и внутренне проклинали всю эту нескончаемую мазурку, мучимые страшным аппетитом.

Дело оканчивалось, однако, всегда благополучно, и все возвращались домой, накушавшись досыта. Этому немало способствовала закуска перед ужином. В небольшой комнате, примыкавшей к столовой, ставились, минут за десять до ужина, на двух ломберных столах, сдвинутых вместе, водка и закуска, состоявшая из груд нарезанной икры, ветчины и сыра. Когда мазурка оканчивалась, все кавалеры под предводительством отца и сына с некоторою дикостью бросались обыкновенно в эту комнату и разом осаждали стол с закуской. Натиск бывал так силен, что многим в эту минуту отдавливали ноги или зашибали руки, и три перемены этих груд икры, ветчины и сыра каждый раз при новом натиске исчезали в одно мгновение ока. Успокоенные таким образом, кавалеры приступали к ужину с гораздо меньшею алчностью.

Я чуть было не забыл еще замечательный факт. Грибановых нередко посещал между прочими один знаменитый литературный авторитет, которому все семейство изъявляло подобострастное уважение. Авторитет поощрял стихотворные занятия Ивана Алексеича,

признавая в нем несомненный талант. И в благодарность за это авторитета сейчас же нарекли в семействе высочайшим гением, и горе было тому, кто осмеливался обнаружить сомнение в том, что он ниже Шекспира или Гомера. На такого смельчака смотрели как на слабоумного или сумасшедшего. Если авторитет обедал в семействе, перед его прибором ставили граненый хрусталь розового цвета и большие мягкие кресла, ему подавали особые кушанья. Когда он делал вид, что желает заговорить, все смолкало, а когда после обеда он закрывал глаза, развалившись в покойных креслах, то мухе не позволялось пролететь мимо него: все на цыпочках выходило вон, и сын, махая рукой отцу, имевшему иногда привычку напевать себе под нос: «Томтороро-мтом-том!» или что-нибудь вроде этого, шептал с сердцем:

– Тсс! Папенька, бога ради не шумите. Ведь Григорий Петрович начинает засыпать.

– Ай-яй-яй! – прошепчет, бывало, старик, – виноват, виноват!

И, затаив дыхание, едва касаясь носком своих туфель пола, удалится по стенке в свой

кабинет.

У Лидии Ивановны всякий раз, когда она взглядывала на авторитет, захватывало дыхание, и что бы ни сказал он, хотя бы просто: «Какая сегодня скверная погода!» или что-нибудь подобное, члены семейства значительно переглядывались между собою, как бы желая сказать этим взглядом: «У! Как глубоко!»

Так, впрочем, всегда в жизни: стоит только раз приобрести себе репутацию гениального, необыкновенно умного, ученого или остроумного господина, и потом смело, хоть целый век, говори дичь – все будут слушать эту дичь, разиня рот, подозревая, что под нею кроется что-нибудь необыкновенно глубокое. В одном доме, очень средней руки, какой-то тупоумный шут прослыл почему-то за остроумнейшего господина, и я сам был однажды свидетелем, как он, вбегая в гостиную, закричал хозяйке дома: «Холодновато, холодновато, чайку бы, сударыня, чайку бы выпить», и все общество, к моему величайшему изумлению, так и покатилося от смеха; а хозяин дома, ухватив себя за бока, закричал ему: «Полно, братец, полно! Бога ради, не смей!» и про-

должал заливаться самым искренним смехом.

Над подобострастным уважением семейства Грибановых перед авторитетом многие подтрунивали, но мне всегда казалось, что авторитет, допуская с собою такое обращение, был гораздо смешнее самого семейства.

Грибановых нельзя было не любить. Их добродушие и гостеприимство действовали на всех обаятельно. Бывало, часто становится смешно, глядя на них, но в ту же минуту внутренне говоришь себе: «Однако все-таки какие добрые и славные люди!»

Это был общий голос.

– Елейное семейство! – прибавлял обыкновенно Пруденский, один из самых ревностных посетителей Грибановых, отличавшийся особенною ловкостью и смелостью при осадах на закуски в именинные дни.

Глава II. О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами

Вечером в один из четвергов я проезжал мимо квартиры Грибановых и заметил в их окнах необыкновенное освещение. «Что бы это могло значить? – подумал я, – сегодня, кажется, нет ни именин, ни рожденья». Эти огни подстрекнули мое любопытство, и я велел кучеру остановиться у подъезда. Вхожу на лестницу – лестница освещена двумя стеариновыми свечами в фонарях; это озадачило меня еще более, потому что даже в торжественные дни рожденья и именин в этих фонарях обыкновенно горели сальные свечи. Звоню с некоторым нетерпением. Двери отворяются тотчас, что также случалось весьма редко. В передней поражает меня лампа вместо свеч-

ки и сильное благоволие от герковских бумажек. «Эге! да тут в самом деле совершается что-нибудь необыкновенное», — подумал я. Удивление и любопытство мое возрастали с каждым шагом вперед. В зале, вместо одной, зажжено было четыре лампы; в гостиной сиял карсель, зажигающийся раз в год и служивший более для украшения, нежели для освещения комнаты; в будуаре теплились все фонарики, разливая красноватый и неприятный полусвет, и во всех комнатах было так накурено духами, что делалась даже небольшая тошнота и головокружение. Лилия Ивановна была вся усыпана цветочками, бантиками и пуколькоми, цвет лица ее был необыкновенно ярок; дочка была одета также по-праздничному; сын все улыбался и ходил, потирая себе руки; но что всего удивительнее — на хозяйине дома были сапоги; волосы его, постоянно растрепанные, были приглажены, новый атласный галстух подпирал его подбородок. Он, видимо, чувствовал какое-то беспокойство и неловкость, два раза хотел закурить сигару и, поднося к свечке, бросал ее и морщился.

– Да что с вами, Алексей Афанасьич? – спросил я его, осматриваясь кругом и на замечая в числе гостей никакой особенности, ни даже авторитета, – вы как будто ждете, что ли, кого-нибудь? У вас что-то сегодня необыкновенное...

– Уж не говорите! – возразил он, махнув рукой и улыбнувшись, – я не знаю, собственно, для чего все это (он указал головою на лампы), и меня заставили прифрантиться, как видите. К нам хотел сегодня приехать барон Щелкалов... вы, я думаю, слышали про него? Ну, прекрасно... да что ж он за такая важная птица, чтобы для него и сапоги натягивать, и галстух новый надевать, да и сигары, наконец, не кури! Что мне за дело что он принадлежит к высшему кругу, ведь не я к нему лезу, а он ко мне, следовательно, он должен соображаться с моими привычками... Ну, да женщины, знаете, они на это смотрят иначе... А мы с вами все-таки сигарочку выкурим... я вас угощу отличной сигарочкой, по случаю достал, пойдете-ка ко мне.

Мы хотели уже идти, как вдруг раздался голос Лидии Ивановны:

– Куда это, Алексей Афанасьич, полноте, останьтесь, после накуритесь сколько угодно. Барон скоро приедет, ведь вы хозяин дома... кто же его встретит?

В мягком голосе, с которым произнесены были эти слова, звучала, однако, какая-то пискливая и раздражительная нота. Алексей Афанасьич едва заметно поморщился, но вслед за тем тотчас же приятно улыбнулся, взглянув на Лидию Ивановну, и произнес:

– Ну, извольте, матушка, извольте. Быть по-вашему, никуда не уйду отсюда.

И потом, обратясь ко мне, заметил шепотом:

– Делать нечего... будем сидеть у моря и ждать погоды. Начался общий разговор, но он как-то не клеился. Лидия Ивановна и Иван Алексеич слушали рассеянно, беспрестанно поглядывая на часы. Лидия Ивановна несколько даже вздрагивала при звонке, и когда в комнату входил обыкновенный четверговой гость, она с равнодушием кивала ему головой, протягивала руку и говорила: «А-а-а! Это вы? Здравствуйте».

Стеснение и неловкость сообщились от хо-

заяв к гостям, которым к тому же хотелось ужасно курнуть, и в душах многих из них, постоянно воспевавших Лидии Ивановне гимны и мадригалы, зашевелились в эту минуту на ее счет ядовитые эпиграммы, а самолюбие еще подстрекало к этим эпиграммам, нашептывая: «Да чем же вы хуже г. Щелкалова? Отчего же для г. Щелкалова вы должны себя подвергать стеснениям и лишениям? Вам-то что за дело до него?.. Пусть Лидия Ивановна, если угодно, ходит перед ним хоть на четвереньках, да не стесняет для него вас...», и тому подобное.

Пруденский, наклонясь к своему соседу и поправляя глубокомысленно золотые очки, шепнул ему с выражением глубочайшей иронии:

– Что же этот достолюбезный гость заставляет так долго ждать себя! И зачем нас не предупредили? Мы уж облеклись бы в мундиры и с треуголками пошли бы к нему во сретенье.

Внутренний ропот и недовольство против хозяев накопились в груди гостей с каждой минутой, а к барону Щелкалову они начина-

ли чувствовать просто неприязненное расположение и ожидали его, как врага.

Уже было половина десятого, но никаких признаков приготовлений к чаю. Пелагея Петровна, в чепце с голубыми бантами, по временам появлялась на минуту в залу взглянуть на часы и потом снова исчезала.

Один из гостей поймал приживалку:

– Послушайте, Пелагея Петровна, – сказал он, – ужасно пить хочется. Что, у вас будет нынче чай или нет?

– Уж не говорите! – отвечала Пелагея Петровна, – помилуйте, два часа все приготовлено. Самовар уже давно кипит, да вот вишь, ждут этого князя, что ли, какого. Слыхано ли, в самом деле, до десятого часа эдак маяться без чаю!

– Да где же приготовлено, – возразил гость, – еще и круглый стол не поставлен.

– Нынче у нас все ведь по моде, так, как в знатных домах, – заметила не без иронии Пелагея Петровна, – чай будут разносить на подносе, а я разливаю в задней комнате.

Пелагея Петровна полагала, что в знатных домах наливают всегда чай в задних комна-

тах.

Прошло еще четверть часа мучительных для хозяев ожиданий. Вдруг в исходе десятого часа, в ту минуту, как Лидия Ивановна смотрела на часы, стоявшие на камине, раздался из передней резкий звонок. Она быстро взглянула в зеркало, поправила свои пуголки, прищурила несколько глаза и, обратившись к Алексею Афанасьичу, сделала ему головой значительный знак, указывая на переднюю.

Старик пошел навстречу новоприбывшему.

Пруденский, глубокомысленно поправляя золотые очки, и другие гости, в том числе и я, с любопытством обратились к двери, которая вела из залы в переднюю.

В этих дверях сначала показался господин лет за сорок, одетый щегольски, с большими, туго накрахмаленными воротничками и с развязными манерами, – литературный дилетант, по фамилии Веретенников, изредка появлявшийся по четвергам и более или менее уже знакомый всем нам.

Он принадлежал к тому петербургскому кружку, который немного повыше среднего и

очень пониже высшего. Двоюродная сестра этого господина была замужем за каким-то князем, двоюродным братом одного значительного лица. Это было известно всем, кому хоть сколько-нибудь был известен Веретенников, беспрестанно употреблявший в разговоре такие фразы: *ma cousine princesse N**, мой зять князь N, граф С – двоюродный брат моего зятя князя N, и так далее.

Желая чем-нибудь обратить на себя особенное внимание своего кружка, Веретенников пустился в литературу, написал небольшой рассказ из светской жизни и прочел его в одном салоне средней руки. Рассказ был найден дамами прелестным, и они в особенности были поражены тем, что на русском языке можно делать недурные каламбуры: у Веретенникова было несколько довольно удачных. Рассказ этот появился впоследствии в каком-то журнале, после чего Веретенников уже вообразил, что русская литература без него обойтись никак не может и что деньги так и посыплются к нему. Ободренный этой фантазией, он начал замышлять роман, приступил к делу и через несколько времени

явился с началом романа к журналисту с тем, чтобы запродавать свое произведение за какую-то баснословную сумму, заметив, впрочем, что эта сумма назначается им в помощь одному бедному семейству, а что сам он вовсе не нуждается в деньгах, что ему нет необходимости жить собственными трудами, и проч. Начало оказалось, впрочем, так плохо, что его и даром напечатать не было никакой возможности. С этих пор дилетант несколько охладел к литературе, не писал ничего более, а на вопросы своих приятелей: «Что ж, братец, твой роман-то? скоро ли он будет печататься?» – отвечал обыкновенно: «Я, право, не знаю, мне не хочется связываться с этими журналистами... я напечатаю его отдельно... у них там свои какие-то партии... Я хочу как можно подальше держать себя от этого мира. Ведь не литератором же сделаться мне, в самом деле!..»

Знакомство его с Грибановыми совпадает с эпохою печатания его знаменитого рассказа. Много лет прошло после того; все, разумеется, давно забыли о его существовании, а Веретенников до сей минуты еще повторяет при вся-

ком случае: в моей повести, моя повесть, и пр.

Литераторы не любят Веретенникова, потому что перед ними он корчит светского человека и все толкует о своих приятелях князьях, графах и баронах; а светская молодежь смеется над ним, потому что в кругу ее он корчит литератора.

– Имею честь представить... Барон Щелкалов! – сказал Веретенников хозяину дома, указав на господина, следовавшего за ним, поправив свои воротнички и выставив одну ножку в лакированном сапоге вперед.

Щелкалову казалось лет под тридцать. Он был высокого роста и недурен собой: черные и волнистые густые волосы, черные довольно выразительные глаза, небольшой, немного приподнятый кверху нос и в глазу стеклышко, с которым он как будто бы родился. Одет он был с тою щегольскою небрежностью, к которой тщетно стремятся некоторые франты всю жизнь и так и умирают, не достигая ее; сложен был очень недурно, но держался странно, как будто бы все члены его ослабли, завяли или развинтились: голова, казалось, едва держалась на плечах, руки болтались,

опущенные, спина была несколько сторблена. С первого раза можно, пожалуй, было принять его за больного, но стоило только попристальнее взглянуть на него, чтобы совершенно разубедиться в этом. Смуглое лицо его выражало, напротив, цветущее здоровье и несомненную силу. Человек простой призадумался бы при этом странном явлении, а для человека светского оно не казалось нисколько странным и объяснялось очень легко и просто довольно странным словом – шик (du chic). В самом деле, эта слабость, завял ость или развинченность, как хотите, была – шик.

Веретенников сиял от удовольствия, представляя барона Щелкалова. В глубине своей он благоговел перед Щелкаловым и смотрел на него как низший на высшего, потому что Щелкалов посещал такие дома, которые были недостижимы для Веретенникова, и говорил свободно, зевая, заложив пальцы за жилет, с такими дамами, при одной мысли о которых у Веретенникова захватывало дыхание; но свое благоговение, свою внутреннюю подчиненность перед Щелкаловым он скрывал усиленно: смертельно боялся, чтобы какой-ни-

будь наблюдательный глаз не подметил ее, и поэтому обращался с ним неестественно фамильярно.

Хозяин дома крепко пожал руку Веретенникова и протянул ее к барону не без чувства. Барон слегка и рассеянно пожал ее и начал смотреть на стены в свое стеклышко.

– Милости просим, пожалуйста в гостиную, – говорил старик в некотором замешательстве, – сделайте одолжение.

– Что это? – спросил Щелкалов, не слушая приглашений старика и остановив свое стеклышко на картине, изображавшей какую-то детскую головку. – Копия с Грёза, что ли?

– С Грёза, – воскликнул обрадованный старик. – Ведь прекрасная вещь, не правда ли?

Он растрогался и начал смотреть на картину слезящимися глазами.

– Недурная копия, – продолжал Щелкалов с видом знатока, закладывая руку за жилет и слегка искривив в сторону нижнюю губу, как бы желая зевнуть. – Вы охотник, что ли, до картин?.. Заходите когда-нибудь ко мне. У меня есть настоящий Грёз... Ты знаешь, Веретенников, князь Чамбаров мне давал за женскую

головку три тысячи рублей, но я ее не отдам и за десять.

Лидия Ивановна, выглядывавшая из дверей гостиной, следила с любопытством за движениями гостя и прислушивалась к его речам, стараясь, впрочем, скрыть это от других гостей и казаться совершенно равнодушной.

– У моего приятеля есть настоящий портрет Грёза, писанный им самим... Удивительный портрет... Ты знаешь, Веретенников, – у Левушки?

Проговорив это, как-будто бы кто-нибудь заставлял говорить его насильно, Щелкалов, лениво волоча ноги, сделал несколько шагов вперед и очутился в самых дверях гостиной.

Веретенников юркнул вперед и представил его Лидии Ивановне.

Щелкалов, не выпуская из глаз стеклышка, слегка наклонил голову в ответ на ее французское приветствие.

– Вот, барон, моя дочь, – сказал Алексей Афанасьич, – а вот и сын, вы с ним, кажется, уже знакомы; милости прошу садиться, – и старик подставил ему кресла. – Теперь пора

бы и чайку, – продолжал он, взглянув на Лидию Ивановну.

Лидия Ивановна бросила косвенный взгляд на Алексея Афанасьича и чуть-чуть пожала плечами, как бы желая сказать этим: «Да когда же вы будете уметь себя вести при чужих как следует?»

Между тем Щелкалов протянул руку сыну и заговорил, не обращаясь, впрочем, ни к кому и все поглядывая на потолок в свое стеклышко, хотя потолок не представлял ничего особенного.

– Как же, мы старые знакомые... Ну что, бабушка, не написали ли вы чего-нибудь новенького?.. У вас славный стих!

Стеклышко барона с потолка перешло на хозяев и потом на гостей... Он начал всех нас рассматривать с такою беззастенчивостью, с какою обыкновенно рассматривают неодушевленные предметы. В это время Веретенников заливался, как соловей: рассказывал анекдоты, цитировал известные рукописные эпиграммы и вообще блистал любезностью. Зашла, между прочим, речь о странностях покойного Крылова. Лидия Ивановна ловко

этим воспользовалась, обратилась к барону с приятнейшею улыбкою и сказала по-французски:

– Я слышала, барон, что вы также занимаетесь поэзией?

– Да, так иногда, от нечего делать, – отвечал барон по-русски. – У меня есть маленькая способность писать стихи... ваш сын находит тоже.

Щелкалов писал стихи в альбомы разным дамам и был, говорят, совершенно убежден, что ему стоило только небольшого усилия, маленького труда для того, чтобы стать наряду с Пушкиным и Лермонтовым. Этим отчасти объяснялось его внезапное появление в литературном и артистическом семействе Грибановых.

– Я надеюсь, барон, что вы будете так добры, прочтете нам что-нибудь, – продолжала Лидия Ивановна, заиграв глазами, как во время оно, и устремляя их на Щелкалова.

– Пожалуй, – произнес небрежно Щелкалов; не смотря на нее и закинув голову назад; продолжал, как будто про себя: – У меня много стихов... что бы вам прочесть?.. постойте...

постояйте...

– Прочти, братец, – возразил Веретенников, – последние твои стихи в альбоме графини Воротынцевой... C'est charmant! c'est charmant!

– Да, как бишь они начинаются?.. У меня такая плохая память...

Я вам скажу, я вам скажу... – О нет, не так, – перебил Веретенников, – ты врешь.

Сказать, графиня, что вы милы... – Ах, да, да, да!

Сказать, графиня, что вы милы, Что вами наш гордится круг; Что вы как солнце; что светины Все остальные меркнут вдруг, Поглещены огнем и светом Чудесной вашей красоты, Что ароматом вы и цветом Затмили лучшие цветы. – Цветок роскошный и прелестный! Но это всем давно известно. Нет, лучше это позабыть И с безмятежностью чинной Любовью кроткой и невинной, Любовью братской вас любить! Прорекламиравав эти стихи с сильными ударениями и с некоторою торжественностью, Щелкалов обвел взором все собрание с таким самодовольствием, как будто бы хотел сказать: «Ведь вот вы здесь,

верно, все литераторы, а попробуйте написать так!»

– Ах, как это грациозно! – воскликнула Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам.

Иван Алексеич смотрел в глаза Щелкалову во время декламации с большою приятностью, покачивая в такт головою, что не помешало ему, однако же, заметить соседу шепотом:

– Пошлые стишонки... И ведь вот чем забавны эти господа: напишут какой-нибудь мадригальчик, думают, что сделали дело, и счастливы.

Все мы, за исключением Веретенникова и дам, присутствовавших тут, разделяли, кажется, о стихах Щелкалова мнение, сообщенное на ушко Иваном Алексеичем. Все мы с некоторым внутренним негодованием и отчасти даже со злобою, смотря на него, думали: «Вот пустейший-то господин!», но если Щелкалов обращался во время разговора к кому-нибудь из нас, он встречал и приветливый ответ, и привлекательную улыбку... Признаться, мы несколько завидовали его смелости. Мы, которые были чуть не с детства зна-

комы в доме, чувствовали себя не совсем свободными с Надеждой Алексеевной и даже иногда не находили предмета для разговора с нею; а он, в первый раз в жизни видевший ее, уже сидел возле нее, наклонясь к самому ее плечу, приняв живописно небрежную позу, и так свободно разговаривал, как будто бы век был знаком с нею, так смело и дерзко глядел на нее, что бедная девушка должна была даже вспыхивать и потуплять глаза.

– У вас, говорят, очень приятный голос. Правда это? – спросил он ее.

– Нет, – отвечала Наденька, – я пою дурно.

– О! Будто?.. Ну спойте что-нибудь; я вам скажу правду.

– Ни за что.

– Вы капризничаете. А вот я пожалуюсь на вас папеньке или тетеньке... Это ваша тетенька?.. Что! вы, я думаю, боитесь ее?.. Хотите, я буду вам аккомпанировать?

И Щелкалов подошел к роялю, взял несколько аккордов, сам что-то такое промурлыкал и между тем смотрел на Наденьку, как бы вызывая ее.

Лидия Ивановна начала упрашивать баро-

на, чтобы он спел, говоря, что она очень много слышана об его удивительном голосе; Алексей Афанасьич присоединил к этому свою просьбу.

– Пожалуй, но с условием, – возразил Щелкалов, обратясь к старику, – чтобы потом нам спела что-нибудь ваша дочь... Иначе я не пою.

– Слышишь, Наденька? – сказал старик, обращаясь к ней с улыбкою...

– Я надеюсь, Nadine, что ты исполнишь просьбу барона? – прибавила Лидия Ивановна.

Наденька была в замешательстве и молчала.

– Она будет петь, я вам даю за нее слово, – произнесла Лидия Ивановна.

– Ну, в таком случае, хорошо... Видите ли, я не так капризен, как вы, – прибавил он, обращаясь к Наденьке, и, пробежав руками по клавишам, запел:

Я видел деву на скале...

У Щелкалова был не столько приятный, сколько сильный голос, и пропел он не без эффекта.

Как водится, раздался гром рукоплесканий, когда он кончил, и даже Пруденский, все время искоса смотревший на него в свои очки, воскликнул: «Превосходно!» и заметил мне шепотом: «Хотя пустой человек, но несомненно обладающий светскими талантами...», и при этом глубокомысленно поправил свои золотые очки.

Наденька пропела какой-то романсик дрожащим голосом, Щелкалов перевертывал ноты и говорил ей вполголоса одобрительным тоном: «Brawo! Brawo! Charmant... только посмелее!» А молодой человек, влюбленный в нее, стоял как убитый, прислонившись к печке, и от времени до времени бросал сердитые взгляды на Щелкалова. Другой романс Наденька спела уже гораздо лучше. Щелкалов торжественно объявил, что у нее голос превосходный, чистейший *soprano*, и что ему недостает только методы и обработки... В заключение он спел с ней дуэт, не помню из какой-то итальянской оперы, и сказал, пристально взглянув на нее в свое стеклышко, взяв ее руку и крепко пожав ее:

– Право, недурно!.. Учитесь, – продолжал

Щелкалов, – у вас отличные музыкальные способности. Хотите взять меня в учителя? – прибавил он, улыбаясь и нимало не обращая внимания на ее замешательство.

Лидия Ивановна была в восторге от барона; он был героем этого вечера; Веретенников – его наперсником, а все мы остальные – статистами.

Этот вечер живо врезался мне в память со всеми мелкими подробностями. У меня как теперь перед глазами Макар, единственный лакей Грибановых, – рослый, неуклюжий, нечистый, всегда ходивший в длинном сюртуке и с голыми руками, – вдруг появившийся во фраке, в нитяных перчатках, с серебряным подносом и с особенною торжественностью на лице, прямо направлявший шаги свои мимо дам к Щелкалову, и невиданный до тех пор в доме казачок, также в нитяных огромнейших перчатках, следовавший за Макаром с другим подносом, усыпанным различными хитрыми сухариками, крендельками и печеньями. Я никогда не забуду удивления Макара, когда Щелкалов отказался от чая, и его вопросительных взглядов, переходивших от ба-

рона к Лидии Ивановне и обратно; трех безмолвных барышень, сидевших рядом и как две капли воды похожих одна на другую, переглядывавшихся между собою при каждом слове и движении Щелкалова, и четвертую, постарше первых трех, пребойкую особу с двойным золотым лорнетом на цепочке, с взбитыми спереди и закинутыми назад волосами, которая после Девы на скале, пропетой Щелкаловым, шепнула первым трем так, что я мог ясно слышать: «Ах, mesdames, просто чудо, душка!..»

Щелкалов, разлегшись в креслах, начал что-то рассказывать, и все слушали его, затаив дыхание; потом он встал, рассеянно подошел опять к роялю, заиграл польку и вдруг остановился, не кончив ее; стал посреди залы, осмотрел барышень в свое стеклышко с ног до головы и, обращаясь к Лидии Ивановне, сказал:

– А что, из них кто-нибудь полькирует?

Все мы были поражены этим странным вопросом, особенно тоном, с которым он был предложен, а Пруденский, поправив свои очки, заметил:

– Это уже, кажется, переходит за ту черту, которая разделяет светскость от наглости... – И при этом прибавил с иронической улыбкой: – От великого до смешного один шаг.

Даже восхищенные Щелкаловым барышни, по-видимому, несколько оскорбились этим вопросом, и бойкая барышня с двойным лорнетом, ловко играя им, заметила по-французски, несколько прищурив глаза и не обращаясь к барону:

– Да что ж за новость танцевать польку? (Хотя полька, надобно заметить, была точно в то время еще новостью.)

– А вы танцуете? – спросил Щелкалов, обратясь к ней. Барышня засмеялась громко и не без аффектации обвела взором все собрание, как бы желая обратить внимание на свою смелость, и сказала очень резким тоном:

– Ну да. Что же из этого?

– Ничего особенного, – возразил Щелкалов, – кроме того, что в таком случае я желал бы сделать с вами один тур.

И он, без дальнейших объяснений, обвинил одною рукою стан барышни и, повернув голо-

ву назад, спросил:

– Кто ж будет играть?

– Nadine, сыграй ты! – воскликнула Лидия Ивановна.

Наденька села за рояль. Все отодвинули свои стулья к стене. Раздались звуки польки, и Щелкалов, не выбрасывая из глаза стеклышка, начал извиваться по комнате со своею дамою. Это продолжалось довольно долго, потом он несколько раз перевернул ее и почти бросил на стул.

– С вами полькировать очень ловко, – сказал он, – после графини Высоцкой вы полькируете лучше всех, с кем я танцевал.

Бойкая барышня замерла от восторга при этом замечании. Она подошла к своим безмолвным и робким подругам и что-то шепнула им, закатив зрачки под лоб от умиления, и потом нахмурила брови и с презрительною гримасой кивнула головой в нашу сторону.

Я угадал этот шепот.

Барышня шептала:

От него (т. е. от барона) можно с ума сойти, это уж не то, что ваши неуклюжие-то ученые (т. е. мы).

Часу в первом в исходе, в то время, когда уже в зале накрывали на стол и Пелагея Петровна бегала впопыхах за кулисами, бранясь с Макаром и подирая за уши казачка, Щелкалов взялся было за шляпу. У Лидии Ивановны выступил холодный пот ужаса.

– Барон, что это вы? куда вы? – воскликнула она. – Сейчас подадут ужин... Не угодно ли вам будет чего-нибудь закусить, так, запросто, по-домашнему?

– Я никогда не ужинаю, – отвечал барон, – и к тому же что-то нехорошо себя чувствую... да и пора уже.

Барон взглянул на часы и зевнул.

– Я прошу вас, останьтесь, барон, – продолжала Лидия Ивановна, – может быть, вам придет аппетит и вы чего-нибудь скушаете. М-г Веретенников, я вас ни за что не пущу.

И Лидия Ивановна с любезностью отняла у него шляпу.

– Попросите барона, чтобы он остался, – прибавила она самым сладким и вкрадчивым голосом.

– Послушай, – сказал Веретенников барону, отведя его несколько в сторону, – в самом де-

ле, останься, неловко... Они ведь для тебя, я думаю, состряпали неслыханный ужин, разорились!.. Ты, если не хочешь есть, то хоть посмотри на него. Все же им будет легче. Зачем этих бедных людей приводить в отчаяние?.. Останься...

– Ты думаешь? – возразил Щелкалов, зевая, – пожалуй. И он бросил свою шляпу, к несказанному удовольствию Лидии Ивановны.

– А знаете, – произнес Пруденский, обращаясь к сидевшим возле него, в том числе и ко мне, и понюхивая табак с расстановкой и глубокомысленно, потому что Пруденский делал все, даже и нюхал табак, глубокомысленно, – знаете, что нет худа без добра. Пословицы всегда верны, это практические выводы народной жизни. Если бы здесь не было сегодня этого ловкого светского фата, мы не имели бы такого ужина, который нас ожидает. Я предвижу, что это будет нечто вроде фестеня.

Ужин был действительно необыкновенный: четыре блюда под различными, весьма хитрыми украшениями, из которых некоторые представляли вид бастионов, а другие по-

ходили на готические башни; нога ветчины была завернута в султан, искусно вырезанный из цветной бумаги, а желе было иллюминировано стеариновым огарком, вставленным внутрь его дрожащих стенок. Повар обнаружил если не поварской, то по крайней мере архитектурный талант. Первое почетное место по правую руку от Лидии Ивановны приготовлено было для барона. Лидия Ивановна указала ему рукой на это место, приглашая его сесть; но он искусно отделался от этого, посадив вместо себя Веретенникова, а сам сел между Наденькой и смелой барышней с двойным лорнетом. Он не ел почти ничего и даже не снимал салфетки с своего прибора, к великому огорчению Лидии Ивановны, которая беспрестанно обращалась к нему:

– Отведайте этого, барон... Вот это блюдо самое легкое... выкушайте вот этого вина... и прочее.

Но барон не слушал этих любезных приглашений; он что-то такое нашептывал в это время своим соседкам, из которых одна все краснела, а другая все фыркала от смеха. Несмотря на это, Лидия Ивановна беспрестанно

но мигала Алексею Афанасьичу, чтобы тот наливал вино барону. Все рюмки и стаканы, стоявшие перед Щелкаловым, уже были полны, и Алексей Афанасьич принужден был наливать ему в стаканы барышень.

– Что это за батарея? – вдруг воскликнул Щелкалов, улыбаясь и взглянув в свое стеклышко на стоявшие перед ним стаканы и рюмки, наполненные разноцветным вином. – Это все мне?.. Вы полагаете, что я все это выпью?

– Отведайте вот хоть красненького, отличный лафитец, – отвечал добродушно Алексей Афанасьич, – тончайшее винцо!

И как бы соблазняя барона, старик отпил из своего стакана, чмокая губами.

Щелкалов поднес свой стакан ко рту и только помочил губы... Зато Пруденский, не угощаемый никем особенно, ел и пил с величайшим аппетитом, придерживаясь из вин в особенности мадеры.

«Это вино здоровое, укрепляющее, полезное для желудка, – замечал он, – способствующее пищеварению»; хотя укреплять Пруденского и способствовать пищеварению его же-

лудка было совершенно излишне, потому что этот желудок мог переварить камни.

К концу ужина Лидия Ивановна значительно взглянула на Макара; Макар утвердительно кивнул ей головой в ответ и явился через минуту с бутылкой, обернутой в салфетку. Ему было настрого приказано от Лидии Ивановны откупорить бутылку без шума, но Макар не выдержал искушения: пробка выстрелила и взлетела к потолку с таким эффектом, что все гости, не исключая даже Пруденского, вздрогнули, а Лидия Ивановна помертвела, бросив глубоко значительный взгляд на Алексея Афанасьича и пожав плечами.

Щелкалов чокнулся своим бокалом с бокалом Наденьки, а молодой человек, влюбленный в нее, сидевший напротив и следивший за малейшим ее движением, беспрестанно изменялся в лице от внутренней тревоги. Он видел, что Наденька перестала дичиться Щелкалова, что она свободно и непринужденно разговаривает с ним, что его общество даже приятно ей. Он видел, что Щелкалов особенно ухаживает за Наденькой; но он не видел того, что в добавление всего этого видел я, хладно-

кровный наблюдатель: досады, выразившейся на лице смелой барышни с двойным лорнетом, оттого что Щелкалов более оказывал внимания Наденьке, нежели ей, и тех иронических взглядов, которые барышня иногда бросала на Наденьку.

После ужина Щелкалов, с шляпой в руке, вдруг сказал, обращаясь к Наденьке:

— Ах, да! я вам говорил давеча о романсе, который я положил на музыку. Хотите иметь понятие о моем музыкальном даровании?

И не дожидая ответа, снял перчатку, бросил шляпу, сел к роялю, остановился на минуту, задумался и запел:

Любил твой голос кроткий, нежный, Задумчивый, туманный взгляд, Твой локон, вившийся небрежно, И твой обдуманый наряд... Тебя любил, тебя любил! Любил я слушать твои речи, Твои движенья подмечать, Смотреть на стан твой и на плечи И взгляд твой пламенный встречать... Тебя любил, тебя любил! Любил, когда в разгаре бала, По скользким лаковым полам, Ты, упоенная, летала, Взгляд посылая гордый нам... Тебя любил, тебя любил! Любил, когда в уединенье, В

таинственный полночи час, Ты говорила мне в смятенье: «Скажи, кто счастливее нас?» Тебя любил, тебя любил! Всегда, везде – и в зале шумной, В карете, в ложе, на коне, И наяву и в сладком сне, Любовью страстной и безумной Тебя любил, тебя любил! При последнем повторении тебя любил! – голос Щелкалова обратился в неистовый крик и вопль, который, однако, произвел невообразимое впечатление на слушателей.

– Bravo! brawo! – раздалось со всех сторон.

– Ravissant! – шепнула бойкая барышня с лорнетом.

– Bravissimo! – прибавил многозначительно Пруденский. – И в словах много страсти. Позвольте, это ваши собственные слова? – сказал он, обратясь к Щелкалову.

Щелкалов не заметил этого вопроса.

– Этот романс, – произнес он как будто про себя, – напоминает мне очень многое!

И он провел рукою по лицу, встал со стула, схватил шляпу, с нетерпеливым волнением начал натягивать перчатку, разорвал ее и бросил, взглянул на часы, проговорил себе под нос: «Пора!», раскланялся Лидии Иванов-

не, пожал руку Наденьке и, кивнув остальным головою, обратился к Веретенникову:

– Едем... Ты ведь меня везешь в своем экипаже?

– Я надеюсь, барон, что это не в последний раз, сделайте одолжение, мы всегда рады, – раздавалось вслед за ним.

Алексей Афанасьич, проводив почетных гостей, возвратился из передней, неся в руке галстух и дыша как будто свободнее. Нам всем также стало полегче.

Наступила минута молчания.

– Вот нападают на светских людей, – произнесла, наконец, Лидия Ивановна в раздумье, – а нельзя не сознаться, что в них много ума и талантов!

– Да, это правда, – возразил Алексей Афанасьич, – только все-таки эти господа хороши изредка.

– Это почему? – спросила Лидия Ивановна недовольным голосом.

– Потому, матушка, что хорошенького понемножку, – отвечал он, улыбнувшись.

Глава III. Биографический очерк барона Щелкалова, из которого наблюдательный читатель может догадаться, что такое подразумевается под словом «хлыщ»

У меня есть знакомый – человек очень богатый, светский и умный. В свете его не любят и говорят, что у него злой язык, но свет за ним ухаживает именно потому, что он богат и зол. Свет его боится. Имеет ли он злой язык действительно – я не знаю; он просто видит вещи в настоящем их свете, владеет юмором и высказывает свое мнение обо всем и обо всех прямо, не входя ни в какие соображения и расчеты.

Через несколько времени после знаменитого вечера у Грибановых я встретился у него с бароном Щелкаловым. Это было утром.

Щелкалов лежал, развалиясь в креслах, с сигарой в зубах и с стеклышком в глазу. Хозяин назвал нас друг другу по имени.

Барон слегка приподнялся, сделал движение головою и потом снова упал в кресло и начал меня рассматривать в свое стеклышко с ног до головы.

– Я, кажется, имел удовольствие видеть вас недавно, – сказал я.

Он сначала вопросительно и с недоумением посмотрел на меня, потом сказал сквозь зубы:

– Очень может быть... где же это?

– У Грибановых, – продолжал я.

Он сделал вид, как будто припоминает, что это такое Грибановы.

– Ах, да, – проговорил он через минуту, – Я был там.

В этот раз Щелкалов показался мне проще. Он ломался несравненно менее; все, что говорил, говорил неглупо, но хотя разговор был общий, он редко обращался ко мне, и то всякий раз как будто нехотя.

В третий раз я почти нечаянно натолкнулся на него в театре, в тесноте, во время антракта, и поклонился. Он едва кивнул мне в ответ головой, потом взглянул на меня так, как будто хотел спросить:

«Что ты за человек и каким образом я могу быть знаком с тобой? и зачем ты беспокоишь меня?»

После этого я часто встречался с ним в театре, на улице, у нашего общего знакомого, но я уже не кланялся ему и не говорил с ним. Он также не обращал на меня ни малейшего внимания.

Так прошло месяца два. В один вечер, в фойе Большого театра, кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся и увидел перед собою Щелкалова.

– Ну что, как вы поживаете? Вас что-то не видно... А вы любите музыку?

И прежде, нежели я успел удивиться, он продел свою руку в мою, потащил меня за собою по залам и начал рассказывать мне о частной жизни примадонны, которая производила тогда фурор в Петербурге, об ее уме, образовании, о его дружбе с нею, о том, как она ценит его музыкальные познания и как слушается его замечаний. Надобно заметить, что это было при самом начале антракта, когда в залах почти еще не было никого. Вдруг в самом жару его рассказа появился в конце за-

лы какой-то молодой человек в мундире с аксельбантами. Щелкалов, увидев его, остановился на полслове, бросил мою руку, как будто испуганный чем-то, и пошел к нему навстречу, делая приветливые знаки рукою.

Он прошелся с ним раза два по зале, и когда молодой человек с аксельбантами оставил его, Щелкалов, остановившись среди залы, обзрел ее кругом в свое стеклышко, опять подошел ко мне и сказал:

– Ужасно душно... пить хочется... У вас есть мелочь, дайте мне... я забыл.

Я молча подал барону четвертак, и он направил шаги к буфету.

Такое поведение барона Щелкалова казалось мне в то время, по неопытности, необъяснимым. Я мало тогда видал такого рода господ, и его личность казалась мне даже оригинальною. Впоследствии я коротко уже познакомился с этою личностью, в разных экземплярах.

Вот кое-какие сведения, собранные мною от разных лиц о Щелкалове, перемешанные с тем, что я сам видел собственными глазами и слышал собственными ушами.

Каким образом, когда и почему к фамилии Щелкаловых присоединен баронский титул, – этого я не знаю; дело в том, что его дедушка нажил вдруг огромное состояние. Говорят, большие богатства никогда не наживаются правдой; но это говорят те, у которых ничего нет. Отец Щелкалова прожил почти все, что нажил дед. Отец задавал неслыханные обеды и ужины, с персиками, сливами, земляниками и клубниками среди зимы в лесу из померанцевых деревьев; мифологические празднества, о которых до сих пор рассказывают старики молодому поколению как о седьмом чуде. Щелкалов был счастлив мыслию, что ни одна из известностей и знаменитостей того времени не миновала его порога, что даже сам князь N, не удостоивший посетить никого в течение по крайней мере тридцати лет, изволил посетить один из его праздников, ко всеобщему изумлению, и, уезжая, приложил руку к губам, сказав ему:

– Прекрасно, очень хорошо: ты человек со вкусом. Причем у Щелкалова брызнули слезы из глаз... В городе в течение по крайней мере месяца только и разговоров было, что о празд-

нике барона Щелкалова, на котором присутствовал сам князь N, да о словах, сказанных барону князем N. Барон после этого начал пользоваться еще большим уважением: на него стали слаще глядеть, ему стали крепче жать руку и говорили, значительно покачивая головою.

– С ним, батюшка, шутить нечего. К нему ездит сам князь N!

Барон до конца жизни с умилением рассказывал об этом необыкновенном событии. Еле движущийся от паралича, полузабытый всеми, старик повторял со вздохом:

– Ну, по крайней мере пожил! сам князь N удостоил однажды мой праздник!

Единственный сын барона Щелкалова воспитан был в баловстве и роскоши. Из кружев и из блонд он уж в колыбели смотрел гордо. С четырех лет начали ему втолковывать нянюшки, мамушки, приживалки и дядьки, что отец его лицо необыкновенно важное, что к нему ездит сам князь N, что у них несметное богатство, что он единственный наследник, и прочее, и прочее. Его предполагали воспитывать не иначе, как за границей:

по крайней мере баронесса-мать непременно требовала этого. За границу уехали, но по прошествии трех лет должны были воротиться в отечество, потому что дела барона пришли в расстройство. В это время малютке было лет десять. Щелкаловы продолжали жить, хотя не с прежнею роскошью, но еще довольно открыто. Между тем имение за имением продавалось.

Десятилетний наследник этих незаметно таявших богатств был очень хорошенький мальчик. Ему всякий день завивали волосы пуклями, которые спускались до плеч, водили его в шелку, в батисте, в бархате, в перьях и в соболях по Невскому проспекту. Он обнаруживал при том значительные таланты: болтал на нескольких языках, прекрасно танцевал и на детских балах производил фурор: влюблялся, волочился и во всем очень искусно передразнивал больших. От него все были в восторге.

Лет шестнадцати он поступил в высшее учебное заведение; это было после смерти его матери, которая, говорят, не могла перенести расстройства состояния. Товарищи не полю-

били барона, потому что он не умел обращаться ровно: то подделывался к ним неизвестно для чего, то вдруг начинал важничать и принимать гордые позы. Средства у него в то время были небольшие, но он всегда терся около тех, которые побогаче и позначительнее, и начал прибегать к займам у мелких ростовщиков за огромные проценты. Окончив воспитание, он появился в свете и был замечен. Нашли, что он воспитан недурно. В самом деле, он говорил по-французски, как француз, играл на фортепьяно и пел, сочинял русские и французские стишки, отличался во всех спортах: ездил верхом, стрелял, плавал; был вообще очень смел и развязен, умел одеваться с шиком и без гроша в кармане казаться богачом. Все эти достоинства и молодежь, которою он был окружен, доставили ему кредит, который он первое время после смерти отца несколько поддерживал продажей пяти-сот заложенных душ из восьмисот, доставшихся ему.

Эта продажа дала ему еще возможность блеснуть в Петербурге на короткое время — орловскими рысаками, английскою кобылой,

гамбсовскими мебельями, своим старинным серебром, лакеем в ливрее с гербами и в плюшевых красных панталонах с штиблетами.

Он носился по Невскому на рысаках, которые бросали молнии из-под копыт, подпрыгивал на английской кобыле как истый спортсмен; играл на вечерах и в клубе в карты по большой с людьми значительными или с известными игроками и вел жизнь такого рода до тех пор, покуда средства его почти совсем истожились. Тогда он начал закладывать вещи.

Заложив свое старинное серебро и кубки, барон в первый раз встревожился, но его прежде всего обеспокоило то, что в столовой опустели этажерки; он долго думал, чем бы установить их, и отправился наконец к Нигри, купил дюжину японских тарелок, северское блюдо и несколько китайских кукол на деньги, отложенные для уплаты какого-то долга. На минуту позабавив себя этими игрушками и полюбовавшись эффектом, который они производили на этажерках, Щелкалов повесил голову и призадумался о своем положении. Он думал довольно долго, потом

вскочил со стула, махнул рукой и сказал самому себе:

– Э! да, впрочем, что ж такое? все как-нибудь обойдется. Люди с такими связями и с таким именем, как у меня, не погибают!

Несмотря, однако, на эту счастливую мысль, он решился вести жизнь порасчетливее и поумереннее, поддерживая, разумеется, насколько можно свое достоинство, то есть те аксессуары, без которых нельзя же существовать порядочному человеку. Он дал себе слово не играть в карты и определил в голове очень благоразумно не только вообще свой бюджет, но даже и свои дневные издержки. Барон не держал у себя стола и почти постоянно обедал у Леграна, который тогда только что появился. Осуществление своих экономических планов он решился тотчас же начать с Леграна и отправился обедать с намерением спросить обыкновенный обед с полубутылкой столового вина.

Войдя в первую комнату, барон приостановился на минуту; не снимая шляпы, кивнул небрежно хозяину ресторана и с своим стеклышком в глазу, медленно и раскачиваясь,

направил шаги свои в следующую комнату, где обыкновенно обедал. В этой комнате, как нарочно, сидели два господина, да еще знакомые ему. При виде их экономические планы барона разлетелись мгновенно, как дым. Щелкалов почувствовал неудержимое желание во что бы то ни стало блеснуть перед этими господами и озадачить их. Он прикинулся, будто не узнает их, и, остановясь посреди комнаты и не снимая шляпы, стал рассматривать их в свое стеклышко; потом промычал длинное Аа! сбросил с себя пальто и, все-таки еще не снимая шляпы, подсел к их столу.

– Я могу обедать за этим столом? – произнес он небрежно и потягиваясь.

– Сделайте одолжение, – отвечали знакомые. Человек принес ему карту, но он с презрением оттолкнул ее и закричал:

– Позвать Леграна. Что ты мне суешь карту?.. Разве ты не знаешь, что я никогда не обедаю по этой глупой карте?

Легран явился перед бароном с не совсем, впрочем, довольной физиономией.

– Ну, что у вас есть сегодня? – спросил его Щелкалов по-французски.

Легран начал ему пересчитывать различные блюда. Он слушал его рассеянно, делая по временам гримасы, а между тем глубокомысленно обдумывал обед. Это продолжалось по крайней мере минут десять. Наконец, изобретя обед идеальной тонкости, он велел подать лафит рублей в восемь, поставить на лед бутылку шампанского и закричал на людей:

– Что с вами? вы сегодня как сумасшедшие... Разве вы не знаете, что я не пью из этого стекла? Принести тонкое стекло.

И, завернув рукава своего сюртука, из-за которого выглядывало тончайшее белье с драгоценными запонками, принялся кушать.

Встреча с знакомыми обошлась ему рублей в двадцать... Когда после ликера ему подали счет, он вынул из кармана своих панталон пук смятых ассигнаций, бросил на стол сторублевую бумажку и, наливая бокалы знакомым, сказал:

– Я здесь всегда плачу чистыми деньгами... Эти счета преопасная вещь... Мне раз подали счет и приписали рублей пятьсот лишних.

Когда барону принесли сдачи, он дал человеку целковый на водку.

Потом, увидев других знакомых, более приятных, т. е. более значительных, тех, которых барон обыкновенно звал уменьшительными именами, он отправился в их компанию, спросил еще бутылки две шампанского, приказал эти уже записать на счет, потом захал на минутку, по дороге в театр, к одному из них, сел играть в карты и остался до глубокой ночи: проигрывал, бесился, проклинал свою слабость и продолжал играть в надежде отыграться, забыв все свои благоразумные планы, оперу и все на свете.

У Щелкалова были еще тогда абонированные кресла во втором ряду. Я особенно любил его в театре. Он никогда не входил в театральную залу прежде половины первого акта. Со своим вечным стеклышком, всегда во фраке, а иногда в белом галстуке, в такие вечера, когда были большие балы, он волочит, бывало, ноги, несколько раскачиваясь, и посматривает беспечно кругом на ложи и на кресла в свое стеклышко. Дорогою поклонится какой-нибудь великолепной даме, дружески кивнет головой в пух разряженной m-lle Камиль, улыбнется с едва заметною гримасой

также в пух разряженной Дарье Александровне, скажет приятелю, сидящему в креслах, довольно громко, так, чтобы все слышали: «А ты сегодня на бале? Едем отсюда вместе...» И, довольный произведенным им эффектом, разляжется в кресла. Во время спектакля он еще непременно начнет разговор знаками с m-lle Камилль или с Дарьей Александровной, так, чтобы это все заметили и все видели его отношения к этим дамам. Щелкалов в каждую данную минуту рисовался и усиливался обращать на себя внимание. У него было расчитано каждое движение, каждое слово, каждый взгляд; он как будто беспрестанно боялся, чтобы его хоть на мгновение не смешали со всеми, и, казалось, говорил толпе: «Между мною и вами нет ничего общего. Не подходите ко мне близко, но, если хотите, любуйтесь мною издали!» Он в то же время добивался из всех сил, чтобы казаться совершенно равнодушным ко всему и несколько утомленным жизнью, боялся обнаружить какое-нибудь внутреннее движение или чему-нибудь удивиться... Но увы! никак не мог постоянно выдерживать такой роли и, созна-

вая это, мучительно завидовал одному тупому господину, который, вследствие неусыпного стремления к хорошему тону, достиг наконец до того, что превратился в совершенную куклу, в автомата, едва удостоившего своим взглядом людей и природу, едва говорившего, едва слушавшего, недоступного ни к каким человеческим движениям и ощущениям и не позволившего бы себе, из уважения к хорошему тону, моргнуть лишний раз даже и в таком случае, если б мир вдруг стал разрушаться...

Щелкалов понимал всю нелепость этого господина, весь его комизм, всю смешную сторону так называемого хорошего тона. Он очень остроумно смеялся над светом, над его обыкновениями и приличиями, даже изредка над самим собою и между тем боялся на шаг отступить от этих условий и беспрекословно подчинялся им: запутывался, разорялся, лгал, обманывал, и все из одной мысли не быть смешным в глазах этого света, над которым сам смеялся. Благоразумные намерения его вести жизнь поскромнее и поумереннее, заняться каким-нибудь делом, служить – откла-

дывались со дня на день. Ни один из его опытов не удавался. Один раз он более месяца занимался службой очень усердно. Это заметили, и ему поручили какое-то дело, но, как нарочно, в это самое время m-лле Камилль потребовала, сама не зная зачем, чтоб он каждое утро непременно являлся к ней... Щелкалов бросил дело и ездил к ней каждое утро, сам не зная зачем, хотя всем и каждому говорил, что эта Камилла до того надоела ему, что он не знает, куда от нее деваться. По мере того, как обстоятельства его делались хуже и стеснительнее, его манеры и тон становились важнее и нестерпимее. Они доходили даже до некоторого цинизма и наглости, под которыми барон хотел скрыть свои плохие обстоятельства. Он продал своих лошадей и экипажи, говоря одному, что хочет ехать в чужие края, другому – что едет в свои деревни, третьему – что ему досталось имение от какого-то небывалого родственника и он отправляется за получением этого имения. Он путался на каждом шагу и занимал уже без всякой застенчивости и совести у кого ни попа-ло, по большей части у молодых и богатых

людей, только что вышедших из-за школьной скамейки. Он променял общество своих сверстников, которые начинали смотреть на него не совсем приветливо, на ватагу шумной молодежи, которая приняла его с распростертыми объятиями и перед которой он хвастал и ломался немилосердно, не прибегая даже к хитростям для закрытия этого хвастовства. Он приобрел между ними значительный авторитет, потому что представил их ко всем возможным Камиллам и Дарьям Александровнам, где был как дома. Под тридцать лет сделался для этих господ театралом и не пропускал ни одного балета, неразлучно обедал и ужинал с ними в ресторанах и для укрепления своего авторитета даже пил вместе с ними, хотя не чувствовал никогда к вину ни малейшего расположения.

Иногда во время обеда или ужина он вдруг обращался к приятелям:

– Господа, нет ли у кого из вас денег? Дайте мне.

Приятели никак не могли подозревать, чтобы барон нуждался и чтобы он был способен прибегать к таким опозлившимся и уста-

рельим проделкам, и наивно спрашивали:

– Сколько?

– Разумеется, чем больше, тем лучше. Давайте сколько у вас есть, – отвечал Щелкалов. – Мне не хочется заезжать домой, а я вам после скажу, на что мне нужны деньги.

Все бумажники вынимались, и всякий наперерыв спешил удовлетворить его желание. Щелкалов без церемонии забирал деньги, с величайшим презрением и небрежностью засовывая их в карман, как будто какую-нибудь дрянь, вовсе бесполезную ему.

– Я сейчас съезжу только на минутку, – говорил он, – а вы подождите меня здесь.

– Нет, не ездите... Оставайтесь... после... – раздавалось со всех сторон.

И барон оставался, не возвращая, однако, взятых им денег. Потом, месяца два или три после этого, он повторял им от времени до времени:

– Господа, я вам что-то должен, кажется?... сколько? Пожалуйста, напомните мне когда-нибудь у меня...

Сколько раз, бывало, это уж я видел и слышал сам: он в маскарадах, не находя своей

обычной компании, без гроша и без кредита, только с одним аппетитом, шляется, бывало, наверху, там, где ужинают, со своим стеклышком и высматривает в него знакомых, тех, которые позастенчивее. Высмотрит таких и подойдет к их столу.

– Что, господа, – произнесет он с необыкновенною важностью и еще искривит несколько рот для улыбки, – кто из вас хочет меня угостить ужином? а?..

– Очень рады, барон, садитесь, – ответят ему несколько застенчивых голосов.

– Ведь я вам обойдусь дорого, господа, я предупреждаю... – прибавит он с обязательною и приятною улыбкою, рассаживаясь важно, выбирая блюда по карте и морщась, как будто делая одолжение позволением себя угощать. А начав есть, непременно еще заметит:

– Какая гадость! здесь нельзя ужинать... и черт знает, что за вино!..

В общих обедах или пикниках Щелкалов участвовал постоянно, требовал еще обыкновенно увеличения цены, а когда дело приближалось к расчету, уезжал, говоря, что чувствует себя не совсем здоровым, или, обращаясь

небрежно к кому – нибудь из присутствующих, говорил:

– Федя, или Саша, или Коля (кто случится), заплати за меня. Я отдам после.

Новички, робкие и неопытные, были всегда у барона в запасе.

Однажды он поймал одного из таких в коридоре при разезде из театра. Новичок, перестав быть новичком, сам рассказывал мне об этом.

– Саша, – сказал он ему, – ты куда едешь?

– Да я, право, не знаю, – отвечал новичок.

У барона постоянно был прекрасный аппетит. Он не ел из важности только у таких людей, как Грибановы.

– Поедем ужинать к Леграну. Хочешь?

– Да мне что-то есть не хочется, – сказал Саша.

– Вздор, братец, еще захочется, – возразил Щелкалов уверительно, – я тебе дам самый тонкий ужин (и он приложил пальцы к губам), чудо какой! ты увидишь. Едем.

Молодые люди сговорчивы. Саша подумал с минуту и отвечал:

– Ну, пожалуй.

– У тебя есть здесь экипаж?

– Есть.

– Ну, так едем вместе.

Щелкалов сел с Сашей в его коляску и приказал кучеру ехать к Леграну.

Барон заказал в самом деле великолепный ужин: с устрицами, с трюфелями, с замороженным шампанским, поил Сашу, рассказывал ему анекдоты, не умолкал ни на минуту и все становился любезнее и остроумнее. Был уже час третий в исходе. Саше захотелось спать.

– Подай счет, что следует с меня? – сказал он лакею, полагая, что барон, пригласивший его, не допустит его платить, но Щелкалов молчал.

Счет был принесен. Саше следовало отдать за себя рублей около пятнадцати. Саша взглянул на счет, отдал его лакею и сказал, чтоб этот ужин записали, потому что у него нет с собой денег.

А барон все рассказывал какое-то презабавное происшествие и вдруг остановился в ту минуту, когда Саша возвращал счет лакею, сказав очень спокойно:

– Вели и мой ужин записать на свой счет. Мы с тобою после сочтемся.

И тотчас же продолжал прерванный рассказ, как ни в чем не бывало...

Тот, кто не знал Щелкалова коротко, а видел его только в обществах издали и слышал его рассуждения, ни за что не поверил бы всем этим фактам, – столько ненависти, столько желчи, столько презрения обнаруживал он, когда речь шла о каком-нибудь низком поступке.

Как понимал он назначение человека и дворянина, как клеймил недостойных потомков знаменитых родов, как превосходно рассуждал о том, в какой чистоте и неприкосновенности должно хранить имя, переданное от предков, и прочее, и прочее.

В это время я уже довольно хорошо знал его, но, несмотря на это, он приводил меня иногда в недоумение.

С тех пор, как он узнал о моих знакомствах с различными господами, которых он звал, как я уже заметил, уменьшительными именами, Щелкалов совершенно переменялся со мною, сделался очень любезен и прост. Раз

как-то я его встретил на Невском.

– Куда вы? пойдёте вместе, – сказал он, продевая свою руку в мою.

Расхаживая довольно долго рука об руку, мы разговаривали о разных предметах. Я не раз сомневался в его уме, но в этот раз должен был сознаться, что мои сомнения были несправедливы, что он точно умен; что у него только слово и дело были в постоянном разладе – и даже не имели ничего общего между собою. Барон остроумно и очень ядовито преследовал иногда в других то, чего сам в себе не видел или не умел видеть и в чем самого его можно было поймать на каждом шагу.

Навстречу нам попался какой-то господин, полный, высокий, с правильными чертами лица, с орлиным носом, с важною поступью, с самодовольною улыбкой, по-видимому, один из самых гордых и недоступных на вид. Он сделал Щелкалову на воздухе какие – то знаки рукою и чуть-чуть шевельнул головою, слегка улыбнувшись.

Щелкалов спросил у меня, знаю ли я этого господина? Я сказал, что нет.

– Как, неужели? – возразил он, лицо его по-

дернулось иронией. – Это, батюшка, лицо замечательное... у нас в свете, в нашем муравейнике... Это такой-то (он назвал мне его имя со всеми принадлежащими к нему украшениями), видите ли, первое – bel homme, второе – богат, третье – глуп и скучен, – и совершенно в равной степени. От важности и довольства самим собою он как будто не идет по земле, а плывет по воздуху. Он очень хитер на различные изобретения; он долго занимался теорией поклонов и дошел в этом до высочайшей тонкости, надо сознаться. Он кланяется с удивительным разнообразием, смотря по степени важности и значения человека в свете. В Китае он был бы великим человеком. Ему бы надо родиться в Пекине, а не в Петербурге. Самым значительным кланяется он, наклоня голову в пояс и потом медленно приподнимая ее и смотря им прямо в глаза с выражением в зрачке умиления, смешанного с безграничною преданностью; перед менее значительными он наклоняет голову до ложечки, а на лице у него в это время изображается улыбка, выражающая глубочайшее почтение; равным себе он только тря-

сет головою, приятно улыбается и в то же время прикладывает руку к губам; для низших и малозначительных у него тысячи оттенков в поклоне: иным он кланяется, прикасаясь рукою к полям шляпы и сохраняя строгую важность в физиономии; другим – только до половины приподнимая руку; а при встрече с самыми последними, с самыми маленькими, по его мнению, он только делает вид, что желает пошевелить руку для поднесения ее к шляпе. У него, впрочем, еще больше этих подразделений; я вам говорю только о самых характеристических! Мне он поклонился как человеку, которого он знает с детства, с которым встречается в свете, – это выражается у него болтаньем руки на воздухе и легкой улыбкой. Хитрый ведь господин!.. Не правда ли?

Произнеся это, барон вдруг поднял голову и начал смотреть на вывески.

– Зайдемте вот в этот магазин на одну минуту, – сказал он мне, оставив мою руку и поднимаясь на ступеньки.

Я пошел за ним.

Простота Щелкалова и его ум внезапно

оставили его у порога магазина. Передо мною очутился уже совсем другой человек, или, вернее, передо мною опять был настоящий барон, не имевший ничего общего с тем человеком, который разговаривал со мною за минуту перед тем.

Он начал с того, что толкнул дверь магазина ногою, так что она с силой хлопнула о прилавок и чуть не разбила стекла ящика, за которым хранились вещи.

– Пару перчаток... мой номер! – закричал он по-французски и, засунув руку за жилет, начал зевать принужденно и вслух, небрежно рассматривая разные вещи в свое стеклышко.

– Какого цвета перчатки, господин барон? – спросил магазинщик.

– Gris-perle... А ведь это недурно! – пробормотал он, обращаясь ко мне и ткнув своей палкой какую-то черепаховую шкатулку с бронзой. – Сколько стоит?

– Сто рублей серебром, господин барон, – отвечал магазинщик.

– Это дорого... Ну, что ж перчатки?

– Вот, господин барон!

И магазинщик подал ему перчатки, завернутые в бумажку.

Барон взял их, положил к себе в карман, проговорил: «На счет», опять зевнул вслух и, едва передвигая ноги, как-то еще особенно шаркая ногами, направился к выходу, потом остановился, полуобернулся и сказал магазинщику, провожавшему его:

– На днях... я зайду... меня просили... Я у вас куплю рублей на пятьсот.

И с этими словами вышел, захлопнув дверь и чуть не прихлопнув еще меня.

Когда барон перестал абонироваться на оперу, он сделался в театре еще заметнее. Он не пропускал ни одного представления, хотя уж потом никогда не покупал кресел. Он знал почти все абонированные кресла первых рядов, потому что они все принадлежали его знакомым; знал, кто из них приезжает в какое время, и по этому расчету садился на чье-нибудь кресло, а при появлении его владельца пересаживался на другое, и, таким образом переходя с места на место; наконец успокаивался на каком-нибудь пустом, никем не занятом кресле, потому что в опере в первых

рядах бывает таких много. Если же театр бывал полон, то он войдет обыкновенно в партер, обведет стеклышком ложи; знакомых окажется, разумеется, довольно, и он в продолжение спектакля кочует из ложи в ложу.

Я сблизился с Щелкаловым в то время, когда у него уже не было ни кресел в театре, ни лошадей на конюшне, ни экипажей в сарае, хотя один из лакеев его все еще красовался в красных плюшевых штанах и в гербовой ливрее, которая, впрочем, была уже значительно поношена. Квартира его в это время заключалась только в трех небольших приемных комнатах, в которых, впрочем, от мебели не было проходу. Тут была и мебель работы лучших мастеров, за которую еще не были заплачены деньги, хотя материя, ее покрывавшая, давно истрепалась и испачкалась, и старинная сборная мебель, до которой барон был большой охотник, купленная им на чистые деньги в разных лавочках на толкучем, и старинные бронзы, и фарфоры, и ковры, и драпри у дверей и окон.

Однажды я зашел к нему. Ливрейный лакей, по обыкновению, побежал докладывать.

Барон вышел ко мне навстречу в китайском шелковом халате с цветами и птицами и в туфлях с загнутыми носками. Он, шлепая туфлями, лениво передвигал ноги.

– Очень рад, – сказал он, взяв меня за руку и пожав ее. – Извините, что я принимаю вас в таком костюме (и барон распахнул свой халат и засмеялся). Пойдемте ко мне, в мой кабинет: там мы можем усесться покойнее.

(Это было месяцев через пять после вечера у Грибановых.)

Он усадил меня в покойное кресло, сел против меня и распахнул грудь, вероятно, для того, чтобы обратить мое внимание на свое превосходное белье; он ничего не делал без намерения.

– Вы курите? – спросил он меня.

Я кивнул утвердительно головою.

– Сигареты или турецкий табак?

– Сигары, – отвечал я.

– И прекрасно делаете, – возразил Щелкалов, – с хорошей сигарой ничто в свете не сравнится, я вам дам отличнейшую. Они, правда, дороги, мне обошлись рублей по двадцати за сотню; но ведь все хорошее, к сожа-

лению, дорого!

Барон позвонил, и, когда человек явился, он приказал ему придвинуть старинную шкатулку с перламутровыми инкрустациями, в которой лежало несколько сигар.

– Вещь недурная, заметьте, – сказал он мне, указывая на шкатулку. – Этот ящик подарен моему отцу князем N и достался ему от его бабушки графини Анны Петровны. Историческая вещь!

Барон открыл ящик, вынул сигару, придвинул ко мне свечу и начал рассказывать мне о пирах и празднествах своего отца, о князе N, который ездил к нему одному, был с ним очень дружен, и прочее, и прочее. Рассказ его показался мне очень интересным, но впоследствии он повторялся при мне неоднократно и, как я заметил, с различными прибавлениями и украшениями, что заставило меня несколько усомниться в его исторической достоверности.

– У меня есть много любопытных данных, – прибавил Щелкалов в заключение, подойдя к шкафу, открыв дверцы и указав на какие-то бумаги, перевязанные веревкой, –

записки моего деда, отца, переписка его с князем... Я когда-нибудь на досуге примусь за этот хлам, из всего этого можно составить интересную статью... Ну, а что, сигары хороши?

– Отличные, – отвечал я.

Они в самом деле были таковы. Он сам закурил пахитоску, выпустил тонкую струю дыма и вдруг предложил мне вопрос совершенно неожиданный:

– А что, вы часто бываете у наших общих знакомых... у Грибановых?

До этой минуты он не только ни слова не говорил о них, даже, казалось, избегал и напоминания.

– Бываю довольно часто, – отвечал я, – они люди очень добрые.

– Да, кажется, – возразил Щелкалов, – хотя надо признаться, что немного смешные, ведь правда? И барыня мне эта не совсем нравится... тетка, что ли? Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте. Впрочем, у всех такого рода барынь слабость к французскому диалекту.

Щелкалов помолчал с минуту.

– А дочка... она ведь миленькая, кажется?

– Очень, – отвечал я.

– В самом деле?.. И у нее так себе есть голосок для домашнего обихода... Да что, про нее можно говорить? Вы не влюблены в нее?..

– Нисколько, продолжайте смело.

– Да-с... ну, а скажите, пожалуйста, можно за нею эдак... приволокнуться?

– То есть как, эдак? Это семейство очень честное и почтенное.

– О, да я в этом нисколько не сомневаюсь! – воскликнул Щелкалов, – я разумею волочить-ся самым невинным образом... А то, пожалуй еще, эти тетеньки и папеньки, они будут косо смотреть на это, а? Ведь я мало знаю эти буржуазные нравы.

– Очень может быть, – сказал я, хотя подумал, что тетенька была бы от этого в совершенном восторге.

– Разве приволокнуться мне, на старости лет! – проговорил он через минуту, зевнув и потянувшись, – потому что это уже все надое-ло мне.

С этим словом Щелкалов придвинул к себе китайское блюдо, стоявшее на столе у него под рукою, и тотчас же оттолкнул его. На

этом блюде была груда разноцветных записочек и писем: кружевных, с бордюриками, с вензелями, с именами, с гербами, и прочее. До этой минуты я не обратил на него внимания.

– А что это такое? – спросил я нарочно.

– Это? – возразил он с принужденною улыбкой, – различные мои воспоминания, глупости, *billets-doux*, это материалы для моей биографии, если я когда-нибудь и за что-нибудь удостоюсь ее. Здесь есть, впрочем, много любопытного. Я иногда роюсь в этих воспоминаниях не без удовольствия... Лучше иметь хоть какие-нибудь воспоминания, чем ничего; правда?

– Я думаю.

Барон опять придвинул блюдо к себе и начал перебирать записки, не упуская случая подсовывать мне под нос, как будто нечаянно, те, на которых красовались гербы и короны. Две или три записочки на французском языке без запятых и точек он тут же бросил в камин, показав мне предварительно первые строки.

В этих записках Щелкалова называли *mon*

petit Sacha, и вслед за тем речь начиналась о деньгах.

– Это от Камишки, – прибавил он с улыбкою.

Я слышал, что Щелкалов с этой m-lle Камиллой имел какую-то неприятную историю, что он будто взял у нее бриллианты для того, чтобы отвезти их в починку, заложил их и проиграл эти деньги, что-то вроде этого; что она везде об этом кричала, но потом примирилась с ним, потому что он не только выкупил эти бриллианты и возвратил их ей, но еще вдобавок поднес ей какой-то браслет довольно значительной цены.

– А вот письмо, – сказал Щелкалов, выбрав одно из груды и подавая его мне, – прочтите, это стоит того.

Письмо это было написано самым изящным французским языком и почерком и было проникнуто самою безумною страстью.

– Ну что? каково? – возразил он, когда я возвратил ему письмо, – и если бы вы знали, что это была за женщина! я не стоил ее, не знал ей цены. Мне всякий раз становится досадно и больно за себя...

И он ударил кулаком по столу.

– В этой женщине было все – и красота, и ум, и поэзия; от выражения глаз ее можно было с ума сойти; за нею волочились все, всё было безумно влюблено в нее... Я, знаете, редко могу чем-нибудь увлечься; но, говоря об ней, вспоминая об ней, вы видите, я не могу быть равнодушным.

Щелкалов точно представлял вид человека взволнованного.

– Вы ее не знали, – продолжал он, – вам могу я показать это, не компрометируя ее памяти.

Он отворил стол, вынул из стола коробку, а из коробки медальон и подал его мне.

В этом медальоне был вделан портрет женщины, красоты почти идеальной; по крайней мере мне не случалось встречать таких женщин.

– Не правда ли, хороша? – спросил Щелкалов.

– Даже невероятно, – отвечал я.

– Именно невероятно... *c'est le mot!* Да, она была во всех отношениях невероятно.

Он взял от меня медальон, посмотрел на

него, спрятал в стол и задумался.

– А не правда ли? – сказал он через минуту, – мы живем глупою, изломанною, исковерканною жизнью?

– Да, это правда, – отвечал я.

– Эге! – вскрикнул вдруг Щелкалов, взглянув на часы. – Да уж половина второго... Я в это время всегда завтракаю. Не хотите ли вместе со мною?

Я отвечал, что никогда не завтракаю, но барон позвонил, не обратив внимания на мой ответ.

– Дайте нам чего-нибудь позавтракать, – сказал он вошедшему лакею.

Через минуту на серебряном подносе принесен был только что початый страсбургский пирог, различные холодные закуски на китайских тарелках и две бутылки: одна с лафитом, другая с мадерой, также початые.

Наш общий знакомый, господин с злым языком, уверял меня, что эти закуски, этот пирог и вина – все это театральное; что это не более, как пуф, выставка серебряного подноса и китайских тарелок для поддержания кредита.

Я сам, впрочем, не мог убедиться в этом, потому что ни к чему не прикасался, а барон тоже едва ковырнул только страсбургский пирог и выпил менее полрюмки мадеры.

Когда я уходил, он сказал мне:

– А знаете ли, соберемся когда-нибудь к Грибановым... а?

– Пожалуй, – отвечал я, – но они скоро переезжают на дачу.

– Право? а куда?

– К Выборгской заставе.

– А-а! это кстати, а я буду жить на Черной речке. Это недалеко. Я люблю ходить и хожу очень много... Я буду заходить к ним. Я надеюсь, что мы будем там видеться.

И он пожал мою руку.

Но еще до переезда его на дачу мне было суждено сойтись с ним у нашего приятеля, господина с злым языком.

Господин с злым языком рассказывал мне об одном очень известном нам обоим промотавшемся лице, которое имело привычку занимать деньги, бросаясь на колени и повторяя: «Семейство, дети, казенные деньги затра- тил... Завтра ревизия... я погиб!» Эта штука

действовала на некоторых, и это лицо выполняло себе довольно значительные суммы, на которые потом задавало тону и блесело между своими приятелями, соря деньгами.

Во время этого рассказа явился Щелкалов.

По шуму, с которым он вошел, по его более чем когда-либо неприступным замашкам, по его веселости – он напевал какую-то бравурную арию – надобно было предполагать, что он перехватил значительные деньги у какого-нибудь новичка.

Он разлегся в кресло, посвистывая; начал выбивать пыль из панталон своей палочкой и прислушиваться к нашему разговору.

– А-а! да я знаю, о ком идет речь, – перебил он. – Вот шут-то!..

– Таких шутов много, – заметил мой приятель.

– Да и то правда! – возразил беспечно Щелкалов. – Ах, господа, – продолжал он, – вы любители артистических вещей и знатоки. Я вам покажу вещицу со вкусом.

Говоря это, он вытаскивал что-то из кармана своего пальто. Вытащив сафьянную коробочку, он открыл ее, вынул из нее какую-то

небольшую игрушку и показал нам. Это была печать с его гербом, ручка которой изображала фигуру, превосходно вычеканенную из серебра.

– Правда ли, артистически сделано? – прибавил он. – Какая тонкая работа! а? Бенвенуто Челлини!

– Хорошо, хорошо! – сказал хозяин дома, рассмотрев печатку и отдавая ее Щелкалову. – Ба! да это еще что у тебя за новое украшение?

Он взял его руку и начал рассматривать перстни, украшавшие один из его пальцев.

– Тут только один новый, – сказал Щелкалов и указал на отличнейшую жемчужину, обделанную в золоте.

– Недурная вещь! а признайся, мой милый, ведь ты соришь деньгами вроде того господина, о котором мы сейчас говорили?

– Какой вздор! – воскликнул Щелкалов, сделав гримасу и пожав плечами. – Что ж тут общего? Хорошо сравнение!.. Очень любезен, – продолжал он, обратясь ко мне и смеясь, – ставит меня на одну доску с эдаким баринном!

– А что ж? он бросал деньги на одни глупости, ты бросаешь на другие. Оба вы занимаете. Или, может быть, ты получил наследство? В самом деле, откуда у тебя все эти драгоценности?

Щелкалов сделал гримасу.

– Какое наследство? что ты бредишь? что с тобой сегодня?.. Во-первых, эти вещи мне подарены, а во-вторых, если бы я и купил их, то это такая дрянь, такая безделица, для приобретения которой не нужно, кажется, получать наследства.

– Ах, да я и забыл, – заметил с улыбкою приятель, – что ты необыкновенно счастлив на женщин... Может быть, это сувениры?

Разговор принимал для Щелкалова направление несколько щекотливое, и он вдруг прервал его:

– Ну, полно вздор говорить... Скажите-ка, господа, лучше, где вы завтра обедаете? вы не дали никому слова?

– Зачем тебе это? – спросил хозяин дома.

– Затем, – отвечал он, – что я зову вас обоих перед переездом на дачу отобедать со мной завтра в каком-нибудь кабаке... Я вас

угощаю, разумеется... Будет еще человека два наших общих знакомых.

– Нет, – сказал хозяин дома решительно, – я не буду, это пустяки.

– Почему? Что такое?..

– Разумеется, пустяки, потому что ты деньги эти можешь употребить с большею пользою, – например, уплатить ими какой-нибудь из долгов.

Барон весь вспыхнул.

– Я не прошу тебя входить в мои дела и распоряжаться ими, я сумею это сделать и без тебя. Если же тебе нужны деньги, которые я у тебя взял, ты мог бы сказать это прямо, не прибегая к наставлениям и к морали, которую я не терплю... Вот твои деньги.

Он вытащил пачку ассигнаций из кармана панталон, смял их в руке и гордо бросил на стол.

– Мне деньги эти теперь вовсе не нужны, а тебе они, вероятно, пригодятся; возьми их назад и успокойся. Человеку хорошего тона ни в каком случае неприлично так выходить из себя.

– Но... – начал было барон мрачно.

И вдруг остановился, захохотал громко и принужденно, схватил своего приятеля за плечи и сквозь этот натянутый смех произнес, глядя на него пристально:

– Чудак! ты думал, что я в самом деле сержусь? ты принял это серьезно?

– Нет! Я знаю, что ты бросил эти деньги для того только, чтобы показать нам, что у тебя есть деньги. Я тебя вижу насквозь, любезный!

– Что же удивительного?.. и не одного меня, надеюсь? – возразил Щелкалов, улыбаясь принужденно. – Ты, брат, видишь всех насквозь...

Он обратился ко мне и продолжал каким-то торжественным тоном, указывая на нашего приятеля:

– Да, батюшка, перед ним все мы мальчишки! Он имеет полное право читать нам мораль, потому что он смотрит на жизнь просто и здраво: он не заражен этими предрассудками, которые уродуют всех нас; он не спутан ими, как мы... Вы знаете, что он всем высказывает в глаза презрительные истины; он беспощаден... Это бич наших слабостей, наш Юве-

нал.

– Эх, господа! – перебил его хозяин дома, – Ювенал слишком велик для вас, а вы слишком мелки для него. Какие вам Ювеналы! вы не стоите не только сатиры, даже мелких эпиграмм; вас и порядочной эпиграммой нельзя прихлопнуть, так вы плоски! Вот хоть, например, ты – у тебя сердце доброе, ты малый неглупый...

Барон иронически улыбнулся и поклонился.

– Я ведь говорю тебе теперь не шутя... ну, на что ты похож, в самом деле, что ты из себя сделал? В тебе ведь нет ни одного движения, ни одного взгляда, ни одного слова искреннего и истинного; ты весь исковеркан и изломан и наружно, и внутренне. Никакому порядочному человеку в голову не придет, чтобы под эту пошлою маской, которую ты носишь с таким самодовольствием, могли скрываться ум, чувство или хоть что-нибудь человеческое... А в тебе еще есть слабые остатки и того, и другого, но до них добраться трудно.

Щелкалов, слушая это, ходил по комнате, беспрестанно меняясь в лице. Слова эти на

него подействовали. Он был взволнован, и волнение это было непритворно, потому что он вдруг сделался прост и натурален.

– Я тебе скажу, – начал он, все продолжая ходить, голосом, в котором не слышалось уже ни одной фальшивой ноты, и как бы забыв о моем присутствии. – Я тебе скажу более: черт знает, я иногда сам в себе не могу ни до чего добраться... такая внутренняя путаница во мне. Что ж с этим делать?.. Во мне было, ей-богу, много порядочного, но воспитание и жизнь все, все изуродовали.

– Да не ломайся хоть перед нами, – возразил господин с злым языком. – Мы, – продолжал он, – знаем все эти штуки наизусть.

И он мастерски очеркнул перед Щелкаловым жизнь его и ему подобных. Мне даже стало жаль барона. Он высказывал ему такие горькие и ядовитые истины, что мне становилось неловко при этой дружеской беседе. Я развернул какую-то книгу и уткнул в нее нос, однако не мог удержаться, чтобы из-под книги не взглядывать на Щелкалова. Мне показалось, что у него наворачивались на глазах слезы.

– Ну, что ж? все это правда, горькая правда! – произнес он, когда тот кончил. – Слабость моего характера возмутительна... Я, братец, проклинаяю себя за его ничтожность... Ну, веришь ли, – прибавил он после минуты молчания уже в самом деле со слезами на глазах (я это видел ясно), – веришь ли, что я иногда бываю противен самому себе?

– Очень верю, – отвечал беспощадный приятель.

Щелкалов начал опять ходить по комнате в большой тревоге, не видя никого и ничего перед собою, и вдруг почти наткнулся на меня, так что я должен был отодвинуться. Лицо его как-то странно передернулось, когда его глаза встретились с моими, и он в то же мгновение принял великолепную позу и произнес, лениво растягивая слова, как будто у него вдруг язык распух или что-нибудь мешало ему говорить:

– Что, батюшка, каково? а-а? Не правда ли, мне задали порядочную баню? О, да ведь он ужасен! (Щелкалов указал головой на нашего приятеля.) А ведь это время от времени, знаете, полезно... а? Правда?.. Я к нему иногда хо-

жу как к доктору; иногда сам прошу, чтобы он хорошенько меня отделал. Я чувствую, что это мне нужно. И не меня одного, он всех нас так обрабатывает!

Щелкалов делал над собой явное усилие, чтобы смеяться, и был действительно жалок в эту минуту.

– Однако мне пора, – проговорил он, взглянув на часы. Я после этой бани должен еще немного отдохнуть, а потом мне надо сделать кое-какие визиты... А что ж завтрашний обед? Мне не позволятся вас угощать? а?.. Ну так в таком случае ты, что ли, меня угощаешь?..

Он взялся за шляпу.

– Деньги-то возьми, – сказал ему хозяин дома, улыбаясь и указывая на пачку смятых асигнаций, брошенных на стол.

– Ах, да!

Щелкалов взял преспокойно эту пачку, засунул ее в карман, надел шляпу, пожал нам руки и вышел, мурлыча ту же арию, с которой вошел.

– Каков!.. – сказал господин с злым языком, обращаясь ко мне и смеясь, – а ведь мог бы

быть порядочным человеком, если б его взять в хорошие руки лет десять тому назад; теперь, конечно, поздно, он уж никуда не годится... и, наверно, кончит плохо...

– Вы его, однако ж, жестоко отделали! – заметил я.

– Да что! ему это нипочем, с него все как с гуся вода; он сначала как будто тронулся немножко, а потом опять стал кобениться... Я его знаю с детства; человек он в самом деле не глупый, но от пошлости и пустоты жизни у него уже начинают тупеть и слабеть умственные способности и, что всего хуже, стираться чувство чести. Он теперь не может сосредоточить свои мысли ни на чем, ни над чем не в состоянии задуматься серьезно – хоть на четверть часа... Рысак, кольцо, старая саксонская или китайская кукла, Дарья Александровна – мгновенно изгоняют из его головы всякую мысль. Сердце у него также доброе, но что в этом сердце?.. С ним часто бывает так, что у него один целковый в кармане, встретится нищий – и он отдаст ему этот последний целковый... мне это случалось видеть не раз, и отдаст именно по влечению

сердца... разве с небольшою примесью другого ощущения, никогда не оставляющего его – желания показать, что ему деньги нипочем. А иногда у него набит карман деньгами, вот как сегодня, – занятыми, но это, правда, редко, и он не даст гривенника человеку, умирающему с голоду; у него все случайно, все зависит от минуты. Передо мной он не скрывает своих плохих дел и на днях меня ужасно рассмешил: говорит, что непременно займется делом... каким бы вы думали? вы не угадаете ни за что... будет писать статьи для журналов; у него, видите ли, много исторических материалов, напечатает свои стихи и за все это получит довольно значительные деньги! И он в самом деле от души верит, что это возможно. Такие признания он делает, впрочем, только мне одному. Он пришел бы в отчаяние, если бы кто-нибудь другой узнал, что ему придется трудом добывать деньги. Ему за труд получить деньги – стыдно, а обмануть кого-нибудь, занять и не отдать – ничего. Хороша среда, которая вырабатывает такого рода господ.

Глава IV, в которой описывается прелесть дачной петербургской жизни, дачная природа и дачные препровождения времени и увеселения

Семейство Грибановых переехало на дачу в конце мая... Кстати о петербургских дачах. Вот как характеризует эти дачи один мой приятель в одном из своих неизданных сочинений... Этот отрывок я беру с его дозволения. У нас, впрочем, бывали примеры, что приятельские сочинения брали без дозволения и, изменив несколько слов, подписывали под ними свое имя. Я нахожу, что это не деликатно.

«...Большая проезжая дорога, над которой поднимается беловатое облако пыли, разносимое ветром то направо, то налево, а во время дождей непроходимая грязь. По сторонам этой дороги деревянные домики с зубцами и башенками: подражание готическим средне-

вековым замкам, более, впрочем, похожие на высокие пироги из миндального теста. Домики эти имеют также сходство с балаганами, которые в Петербурге строятся на Адмиралтейской площади, а в Москве под Новинским, тем более, что они сколочены также из досок и барочного леса. Перед ними палисаднички, обнесенные решетками и заборами. В каждом палисадничке тощая березка или липка с засохшей вершинкой, кусты какой-нибудь зелени, прижженные солнцем и напудренные пылью, и цветничок, также с напудренными цветами, не издающими ни малейшего аромата. Сзади небольшой пруд, подернутый плесенью, и всегда плоское поле с мохом и кочками или просто болото. Палисадник возле палисадника, балаган возле балагана, почти стена об стену, или, правильнее, доска об доску, так что если, например, в одном балагане дама чихнет от пыли или от сырости, из другого балагана кавалер на это чиханье может пожелать ей громко здоровья... Часов в восемь вечера все это плоское пространство покрывается болотными испарениями, беловатым туманом, из которого только торчат

зубцы и башенки. Когда луна поднимается из этих испарений и осветит это пространство, оно издали покажется морем, а башенки мачтами барок, и если дама в приятном сообществе неосторожно засидится на своем балконе при этом лунном освещении, то ее пышно накрахмаленный кисейный капот превратится непременно в мокрую тряпку...

Но не все петербургские дачи построены на болотистых пространствах, и тот, кто полагает, что кругом Петербурга нет ничего, кроме воды и болота, находится в совершенном заблуждении. Близ Петербурга есть и возвышенности, и на этих возвышенностях торчат также миндальные башенки. В какую бы, впрочем, сторону ни выехать за черту Петербурга – башенки будут преследовать повсюду. Петербургский житель не может никак летом обойтись без башенок, в которых ветер продувает его насквозь, а дождь сквозь щели крыш льет ему на голову. Любители сухого воздуха отыскивали себе близ самого города сухой оазис, где нет ни капли воды: где только песок и сосны – сосны и песок; где нога тонет по колено в песке или скользит на сосновых иглах,

или спотыкается на сосновых шишках; где нет ни одного сочного, свежего и светлого листка и где природа вся колется, как еж. Здесь те же башенки и зубчики и те же палисадники, выходящие на пыльные улицы, но от этой пыли уже не чихаешь... это не шоссейная пыль, превращенная в мелкий порошок и ядовитая, как табак, – это массивная и густая пыль, тяжело висящая в воздухе, от которой можно задохнуться... В палисадниках кроме сосны попадается иногда только что пересаженная откуда-то рябина, липа или березка, тонкие и робкие, на которые мрачно оцетинившаяся сосна, кажется, смотрит враждебно, как на незаконно попавших в ее исключительное владение, в это царство песку, где она разрастается и плодится самовластно.

На этих-то песках или на этих болотах проводят петербургские жители три месяца в своих миндальных башенках, выглядывая на природу по большей части из теплых салопов и ваточных пальто. Но когда петербургская природа улыбнется, когда солнце осветит эти башенки, все дачное народонаселение высы-

пают на поля и на улицы наслаждаться природой.

Барыни и барышни, затянутые и закованные в корсеты, в накрахмаленных юбках, в кисеях и в батистах, в прозрачных шляпках, под зонтиками и вуалями чинно гуляют по пыльному шоссе, по песку или по мху и кочкам в сопровождении штатских или военных кавалеров и наслаждаются природой, называя холмик – горою, пруд, вырытый для поливки цветов, – озером, группу деревьев – лесом, четыре дерева – рощею, и так далее. Иногда вдруг барышне вздумается побегать на вольном воздухе, что весьма натурально... Она взглянет на маменьку и побежит, а кавалер, военный или штатский, сейчас за нею – догонять ее. Он, разумеется, тотчас же поймает ее за талию, потому что она бежать не может, барышня вскрикнет или взвизгнет: „Ах!“ и, запыхавшись и покрасневшись, возвратится к своей компании, которая встретит ее веселым смехом. Пройдя таким образом известное пространство, компания поворачивает домой. Барышни и барыни, возвратясь с прогулки, стряхают и смывают с себя пыль, вытира-

ются и притираются и возвращаются на балкон или на террасу очаровывать своих кавалеров, которые любезничают и курят, курят и любезничают... Зимой не дозволяется курить при дамах: это для мужчин также одно из дачных наслаждений – барыни, барышни и папироски...

За готическим домиком из барочного леса бывает иногда садик шагов во сто длины и шагов пятьдесят ширины. Семейство пьет чай или обедает в этом садике на свежем воздухе, хотя свежий воздух пахнет конюшной, гнилью и еще чем-то более неприятным, потому что с одной стороны к садику прилегает здание конюшен, а с другой какие-то развалившиеся домашние строения. Верстах в полуторах бывает обыкновенно какой-нибудь большой сад с парком, с прудами, где водятся караси, с беседками, стены которых исписаны различными остроумными русскими и немецкими надписями карандашом, мелом и углем и изрезаны ножом, с памятниками, с мостиками, с парнасами и с другими барскими затеями. Это – любимое место для прогулок окрестных дачных обитателей, и у каж-

дой дачной барышни и барыни есть непременно любимое место в этом саду: скамейка, с которой вид на поле, или уединенная беседка в тени акаций и лип, драгоценные ей по каким-нибудь воспоминаниям... Здесь на скамейке, на дереве или на колонне, украдкой ото всех, барышня вырезала начальную букву имени его, иногда год, число и месяц, незабвенный для нее месяц и еще более незабвенное число. Здесь есть горка, с которой обыкновенно любуются закатом солнца; аллея, в которой гуляют при луне, – и на горках, в аллеях, в беседках – везде звуки немецкого языка, неизбежного на всех летних публичных гуляньях.

На петербургских дачах – где бы ни были эти дачи, в болоте или на песке, на высохшей речке, через которую куры переходят вброд, или у моря за сорок верст от города, где дачная жизнь принимает уже широкие размеры, где веет запахом полей, где в лесах, рощах и парках встречаются столетние деревья, – на одно русское семейство непременно десять немецких. Самый бедный немец не может обойтись без дачи; летом его так и тянет ins

Grune. Где есть только подозрение природы, слабый намек на зелень, какие-нибудь три избушки и одна береза, одну из этих избушек немец непременно превратит в дачу: оклеит ее дешевенькими обоями, привесит к окнам кисейные занавесочки, поставит на подоконники ерань и лимон, который посадила в замуравленный горшок сама его Шарлота; перед окном избы выкопает клумбочку, посадит бархатцев и ноготочков... и устроит свое маленькое хозяйство так аккуратно и так уютно, как будто лето должно продолжаться вечность. Тогда как иной русский и с деньгами наймет себе огромную и дорогую дачу, да и живет целое лето настезь, нараспашку, как ни попало, без занавесок, без стор, в крайнем случае защищаясь от солнца салфеткой, которую прикрепит к окну чем ни попало, хоть вилкой, если вилка попадет под руку. „Что, – думает он, – стоит ли устраиваться: ведь лето-то коротко. Не увидишь, как и пройдет. Авось проживем как-нибудь и так“.

Именины или рожденья на дачах празднуются обыкновенно с большим шумом и блеском, особенно немцами: в эти торжественные

семейные дни балконы убираются гирляндами цветов, а вечером вся дача освещается разноцветными фонариками; знакомые привозят иногда с собой сюрпризы в виде карманных фейерверков. Эти же знакомые лазят по лестницам и развешивают цветные фонари под главным надзором какого –нибудь друга дома Адама Карлыча, и когда все готово, выводят хозяина и именинницу хозяйку любоваться этими сюрпризами, которые повторяются лет двадцать сряду. Тогда начинаются крики „браво!“, кричат гости, дети, младенцы, все кричит и радуется, и вдруг из этой толпы раздается один какой-нибудь голос: „Качать Адама Карлыча!“ Другие голоса подхватят: „Качать, качать его!“ Смущенный Адам Карлыч обращается в бегство, его преследуют, его ловят, его догоняют, его, наконец, качают при усилившемся крике и смехе, а за палисадником на улице тоже хохотня и писк.

Так веселятся на петербургских дачах средней руки, но около Петербурга есть другого рода дачи – с цельными стеклами до пола, с террасами, с галереями, с балконами, устав-

ленными деревьями и цветами, с удивительными фонарями; с садами, в которых дорожки усыпаны красным песком, а травка подкошена и подчищена, где вместо заборов подстриженный кустарник, красивее ширм, где мраморные вазы, ванны и бассейны, где не только нельзя лечь на траву, но не решишься даже плюнуть на дорожку, где просто ходить опасно по дорожкам, ибо на этом красном песке, красиво и искусно подметенном, нет ни одного следа человеческого. Хозяин и хозяйка этой великолепной обстановки, этой изящной декорации, называющейся дачею, много что раза два в лето пройдутся по этому саду. Они ходят мало, они природой любят-ся свысока, из своих экипажей, с седел своих верховых английских лошадей или с своих великолепных балконов и террас...»

Мой приятель, как заметил уже, вероятно, читатель, смотрит на петербургские дачи с юмористической точки зрения. Я этой точки не люблю, я смотрю на дачи очень серьезно и нахожу, что они составляют существенную потребность в жизни петербургского жителя; но дело не в том. Дача, которую нанимали

Грибановы, одна из ближайших дач за Выборгской заставой, по дороге, ведущей к Парголову, была построена без особенных затей. На ней не торчали миндальные башенки и не было видно ни одного зубчика: это был просто домик с мезонином, с обыкновенной крышей и с крылечком, выходящим в палисадник. Такая простота несколько смущала Лидию Ивановну, которая, смотря на этот дом, обыкновенно говорила: «Что это за постройка! это совсем не похоже на дачу, точно как будто дом в уездном городе... никакой архитектуры!» Зато ей чрезвычайно нравилась дача, которая была почти напротив их, принадлежавшая какому-то золотопромышленнику, в которой готизм доведен был до невероятного. К дому приклеены были семь небольших башенок и восьмая большая, с часами, у которых бой был с музыкой... Кроме того, вся она была изукрашена зубчиками и фестончиками, а кругом ее были вырыты рвы и через них устроены подъемные мостики. Сад, окружавший ее на малом пространстве, представлял множество разнообразнейших и затейливейших выдумок: фонтанчики, гроты, пруды

с островками, паромы и прочее. Лидия Ивановна говорила, что этот сад и дача – маленький эрмитаж, но ни Алексей Афанасьич, ни Иван Алексеич не разделяли в этом случае ее мнения. Алексей Афанасьич называл эту дачу вербной игрушкой, а Иван Алексеич приходил от нее даже в негодование:

– Так искажать, – говорил он с важностью, – и обезобразивать природу, и превращать архитектуру в кондитерское изделие – непозволительно.

По поводу этой дачи возникали даже в этом образцовом семействе споры, доходившие иногда до размолвок.

– Кажется, более меня уж никто не любит природы, – замечала Лидия Ивановна, – но я восхищаюсь равно и природой, и искусством, и диким местоположением, и обделанною и украшенною местностью. Все хорошо в своем роде.

– Помилуйте, какое тут искусство! – возражал Иван Алексеич, – это не искусство, а оскорбление искусства, пародия на искусство. Рыцарские замки из барочных досок, раскрашенные и вымазанные сусальным золотом!..

– Ну, стало быть, я ничего не понимаю, – перебивала Лидия Ивановна, – стало быть, я не умею ценить искусства?

Алексей Афанасьич приходил при этом в беспокойство и вступался в разговор.

– Нет, не то, матушка, – говорил он самым мягким и примирительным голосом, – вы очень хорошо понимаете искусство, Иван это знает; но у вас есть страстишка к игрушкам, это вам и нравится как игрушка.

– Какие игрушки! что за страстишка! какие у вас выражения! – вскрикивала Лидия Ивановна, – разве я ребенок, чтобы мне нравились игрушки? и прочее.

Но когда раздражительность Лидии Ивановны стихала, когда она успокаивалась и принималась лепить свои цветочки, а Иван Алексеич принимался декламировать свое новое стихотворение и когда потом они принимались восхищаться произведениями друг друга, тогда Алексей Афанасьич чувствовал то внутреннее умиление, от которого на глазах у него обыкновенно проступали слезы.

Все семейство, постоянно восхищавшееся природой, предавалось с увлечением различ-

ным дачным наслаждениям. Алексей Афанасьич все свободные свои минуты проводил в окружающих лесах, отыскивая грибы, и для грибов забывал даже свои силуэтики. Сын как поэт бродил со стихом и рифмой на устах по окрестным полям и рощам. Лидия Ивановна занималась уже более настоящими, нежели восковыми, цветами. Она устраивала клумбы в своем палисаднике, садила цветы, ухаживала за ними, поливала их – и изучала, по ее собственному выражению. Наденька, обыкновенно, помогала ей в этом занятии; а Пелагея Петровна всё собирала васильки во ржи: наберет целую охапку васильков и начнет, бывало, плесть из них венки, сплетет веночек и украсит им соломенную шляпку Лидии Ивановны, которая непременно заметит ей с приятной улыбкой:

– Мерсі, милая! но только, право, мне это не по летам.

Когда Алексей Афанасьич возвращался из леса и когда поход его был удачен, он сзывал всех домашних, улыбался и потирал руки, а вслед за ним приносили обыкновенно корзину с грибами.

– Посмотрите, – говорил он, тая от умиления, – какие березовики-то... молоденькие, беленькие... а подосиновичек-то каков?.. а белый-то грибочек, посмотрите, Пелагея Петровна, какой махонький!.. Вот это вы велите изжарить, да со сметаной... Чудное будет блюдо... А эти вот отобрать да посолить.

И когда на столе являлась сковорода с его грибами, плававшими в сметане, Алексей Афанасьич, смакуя их, обращался поочередно ко всем.

– Каковы грибки-то! – восклицал он в умилении. И при этом глаза его немного увлажнились.

На даче Алексей Афанасьич становился обыкновенно еще более мягкосердечен и чувствителен. Это должно было приписать действию природы.

Когда я, бывало, приеду к ним на дачу, он встретит меня первый, обнимет, расцелует...

– Ну, очень рад, очень рад, – непременно скажет он, – и прекрасно сделал, что приехал. Что в городе-то задыхаться от пыли и жара! Видишь, какое здесь раздолье, какой воздух!.. а погода-то какая стоит – чудо!.. посмотрите

на небо, ни одного облачка... Да ты бы к нам на несколько дней, погостил бы у нас, мы вместе пошли бы за грибками... и прочее.

Потом он также непременно прибавит:

– Какой цветничок развела Лидия Ивановна, посмотри, ведь это просто прелесть. Не правда ли?

Покажет на высокую и кудрявую ольху, которая росла у них за домом, хотя я уж двадцать раз видел ее, и воскликнет:

– Какая здесь растительность-то необыкновенная! где ты под Петербургом найдешь такое дерево? Да ведь здесь и воздух какой!.. Нигде в окрестностях нет такого воздуха!.. Поверь мне... это я и на себе чувствую, да вот Лидия Ивановна и дети находят то же.

Если польет дождь, Алексей Афанасьич и от дождя приходит в восхищение.

– Как хорошо, – говорит, – теперь цветочкам-то и зелени! Они обмоются, освежатся.

Старик всегда и всем был доволен, его только немного смущали и тяготили церемонные знакомства, и когда Щелкалов в первый раз появился у них на даче, никем не жданный, врасплох, Алексей Афанасьич, ле-

жавший в эту минуту на траве под деревом, без галстука и в туфлях, наморщился, почесал затылок и произнес вполголоса:

– Ах! зачем это его принесла нелегкая!

Потом он улыбнулся и обратился ко мне, приподнимаясь неохотно:

– Что, делать нечего, видно, придется натягивать сапоги и галстух.

Дамы, сидевшие на крылечке, первые увидели Щелкалова, вскрикнули и бросились в дом для того, чтобы принарядиться. Я остался один в палисаднике и пошел навстречу нечаянному гостю.

Он стоял у калитки, посматривая кругом в свое стеклышко.

– А, здравствуйте! – закричал он, отталкивая ногой калитку. – Да у кого вы здесь? Тут, что ли, живут Грибановы? Я их ищу.

– Тут, – отвечал я.

– Вот это очень кстати, что я вас нахожу здесь... Однако ж это довольно далеко. Я, любезнейший, пешком с своей дачи!.. а? порядочное путешествие!..

Говоря это, барон вошел в палисадник, осмотрел все кругом в свое стеклышко, бро-

сился на скамейку, стоявшую у калитки, и, чертя на песке тросточкой, сказал:

– Ну-с, а где же хозяйева?

– Они дома. Мы подождем их тут; они сейчас придут. Я боялся Щелкалова пустить в дом, где должна была, по моим догадкам, происходить суматоха.

– А что, вы знаете толк в английских лошадях? – вдруг спросил меня Щелкалов, приподняв немного голову и потом снова опустив ее и продолжая чертить на песке.

– Ни малейшего, – отвечал я.

– Неужто?

Барон опять приподнял голову и взглянул на меня, улыбнувшись, с выражением сожаления. Я знал, что, по мнению его, первым признаком порядочного человека, настоящего джентльмена, была страсть к лошадям и охоте, к этим двум важнейшим отраслям спорта, – единственная, впрочем, страсть, допускавшаяся джентльмену. Говоря о лошадях и об охоте, джентльмен мог даже выходить из себя. Он непременно обязан был хоть прикидываться лошадиным знатоком и знать наизусть всех лошадей известной породы, вне-

сенных в знаменитую Stud-Book. Я не раз слышал барона, красноречиво развивавшего целые теории о лошадях, выученные наизусть из Bel's Life, английского спортсменского журнала. И хотя вопрос Щелкалова, несмотря на его неожиданность, не удивил меня, потому что он часто предлагал вопросы еще неожиданнее и еще страннее, я, однако, спросил его:

– С какой точки зрения вас может интересовать, знаю ли я толк в лошадях или нет?

– Так, – отвечал он, – если бы вы знали в них толк, я показал бы вам удивительную английскую лошадь, которую я теперь торгую, – породистую лошадь, кровную... чудо лошадь! Немного дорогонько просят, впрочем, я думаю, придется разориться.

Разговор о лошади, нимало не интересовавший меня, к моему счастью, прекратился появлением Лидии Ивановны и Наденьки, а вслед за ними и Алексея Афанасьича в сапогах и в галстухе. Увидев их, Щелкалов лениво приподнялся со скамейки, небрежно поклонился дамам, сказал Алексею Афанасьичу: «Здравствуйте» – и протянул ему два пальца.

– А знаете, как я к вам сюда явился? уга-

дайте!.. Все молчали, не зная, что на это отвечать.

– Пешком-с, – продолжал барон, смеясь, – с своей дачи. Это по крайней мере верст пять... как вам это нравится, а?

И Щелкалов посмотрел на всех, как бы ожидая знаков удивления.

– Неужели? – воскликнула Лидия Ивановна первая, – возможно ли это?

Она была точно поражена этим. По ее мнению, ноги такой особы могли только прикасаться к паркету или к обделанным дорожкам, усыпанным толченым кирпичом.

– Вы устали, барон? – продолжала Лидия Ивановна с беспокойством, – пожалуйста, садитесь. Да скажите, что это за фантазия пришла вам – пешком?

Щелкалов засмеялся.

– Я могу отвечать вам на это: у всякого барона своя фантазия. Мне так вздумалось; я хотел сделать опыт; но, я думаю, в другой раз я не повторю этого... Ну, что, как наша музыка? – прибавил он, обращаясь к Наденьке.

Наденька вспыхнула и улыбнулась. В этой улыбке было видно, что ей очень приятно

внимание Щелкалова.

– Летом я совершенно свободен, я буду заезжать к вам часто, и мы будем с вами заниматься музыкой. Хотите?

Наденька покраснела еще больше и отвечала на это только приятным наклоном головы.

– Музыка и природа, хоть с иглами, а все-таки природа! – заметил Щелкалов, указывая на сосну, торчавшую перед крыльцом. – Летом нет других развлечений... А где ваш сын?

Барон при последних словах обернулся в ту сторону, где стоял Алексей Афанасьич.

– Да бог его знает, – отвечал старик, – он иногда пропадает по целым дням. Ведь он артист, поэт, бродит себе по полям, по лесам; говорит, будто бы летом он всегда живет растительною жизнью; да это неправда, тут-то у него и зарождаются различные поэтические планы... Я подозреваю, что он теперь пишет какую-то большую вещь; от нас это он еще держит в секрете. Выведайте-ка его, барон, когда вы увидите с ним. Он вам, верно, проговорится.

Старик оживился, говоря это. Голос его уже

дребезжал, и слеза блестела на реснице.

Барон остался довольно долго, любезничал с Наденькой, аккомпанировал ей и пел вместе с нею. Пелагея Петровна разливала, разумеется, чай в задней комнате, а Макар, в нитяных перчатках, разносил его на серебряном подносе. Часов в двенадцать, среди общего разговора, Щелкалов обратился ко мне:

– А что, у вас здесь есть какая-нибудь колымага? вы меня довезете?

– Пожалуй, – отвечал я.

Дорогой Щелкалов больше дремал. Когда уж мы подъехали к его даче, он зевнул, потянулся и сказал:

– А, право, эта девочка премиленькая! а?.. Как она сложена славно. Если бы дать ей манеры, воспитать в хорошем доме, она произвела бы эффект в свете! Не правда ли?

Я не считал нужным что-нибудь отвечать на это, да к тому же в эту минуту мы подъехали к даче и Щелкалов закричал моему кучеру:

– Стой!

Выскочил из коляски, сделав мне приветливый знак рукою, и сказал, кивнув головой:

– Благодарствуйте...

После этого я не был месяца полтора у Грибановых. С Щелкаловым в это время я также нигде не виделся. Раз на каком-то загородном гулянье я встретился с молодым человеком, влюбленным в Наденьку.

– Ну что, как поживают Грибановы? – спросил я его.

– Я не знаю, – отвечал он сухо.

– Как! вы не знаете? Полноте! а Надежда-то Алексеевна? – возразил я.

– Что ж мне такое Надежда Алексеевна?

– Как что? ведь вы влюблены в нее? И она в вас. Полноте, не скрывайтесь. Я ведь все знаю.

– Плохо же вы знаете! – отвечал молодой человек с раздражением, – влюблена она не в меня, да мне и не нужно ее любви... Она с ума сходит от этого франта, от этого барона, который приволакивается за нею не на шутку.

– Будто? да разве он часто бывает у них?

– Чуть не всякий день. Вы можете постоянно найти его там. Уж он сделался у них совсем домашним человеком: Пелагея Петровна и чай разливает при нем, даже иногда дело обходится и без серебряного подноса, и Ма-

кар уж начинает появляться без перчаток, как бывало при нас, запросто. Лидия Ивановна, натурально, в восторге, что такой аристократ сделался у них в доме своим, и у нее только на языке, что барон: барон сделал то-то, барон сказал то-то, барон купил то-то, а этот барон лжет перед ними и ломается. Даже и этот добрый Алексей Афанасьич доволен, кажется, обществом барона; ему позволяется теперь снимать галстух в его присутствии, и старик рассказывает о нем уже со слезами на глазах от умиления.

– Не может быть! – воскликнул я.

– Я вас могу уверить, – продолжал молодой человек, одушевляясь. – И этот барон еще привозит с собою своего друга, этого противного господина Веретенникова, который ему необходим, потому что он занимает Лидию Ивановну и Алексея Афанасьича в то время, как тот занимает Надежду Алексеевну...

– Полноте, вам это все так кажется! – возразил я.

– Нет, не кажется, а все это так есть... спросите хоть у Пруденского. Но всех противнее это уж, конечно, Иван Алексеич. Он очень хо-

рошо видит, что тот волочится за его сестрою, очень хорошо знает, что это волокитство ни к чему не поведет, что барон ведь не женится на ней, а способствует еще их сближению, льстит ему, а нам всем ругает его, говорит, что он всех этих светских людей презирает... И знаете ли, из-за чего это он льстит барону и потакает своей сестре? Как бы вы думали? Из-за того, что тот выслушивает его стихи, восхищается ими, кричит о них, обещает ему устроить чтение в каком-то аристократическом доме, познакомил его с каким-то князем. Иван Алексеич так и растаял от всего этого, а нам не хочет, разумеется, показать этого и говорит, что он все делает не для себя, а единственно для того только, чтобы заинтересовать аристократический круг русской литературой. Комедия, да и только!

– Вот как! а я этого ничего не знал. Я уж у Грибановых не был больше месяца.

– Я тоже не был у них дней десять, – перебил молодой человек, – да там просто противно бывать теперь, и они оба – и барон, и Веретенников смотрят на нас свысока, едва говорят, едва удостоивают взгляда. Пруденский

все навязывается к ним с своими разговорами, а они чуть не отворачиваются от него. Охота же ему! Я не понимаю этих людей, а еще все толкуют о чувстве собственного достоинства и о том, что никому не позволят себе наступить на ногу, ни перед кем не уронят себя!..

Я на другой день отправился к Грибановым. Мне, признаюсь, любопытно было поверить все это собственными глазами.

Я приехал к ним на дачу часов в восемь. Это было уже в августе месяце; солнце садилось. Вечер был ясный, с небольшим холодком. Я нашел все общество в гостиной. Лидия Ивановна сидела на диване перед круглым столом, на котором стояла уже зажженная лампа, потому что в комнате было темно от деревьев. Лидия Ивановна находилась, по-видимому, очень в приятном расположении и одета была очень пестро и нарядно. На Алексее Афанасьиче были галстух и сапоги. Лицо его было все подернуто умилением, а глаза слезой; значит, он был совершенно доволен собой и окружающими. Иван Алексеич просто сиял и как-то все сладко улыбался. Посто-

ронних было четверо: Веретенников, Пруденский, влюбленный в Наденьку молодой человек и бойкая барышня. После обыкновенных любезностей: «Что вы подделываете? – Как давно вас не видно. – Вы нас забыли...» и тому подобного – я сел и, осмотрясь кругом, спросил:

– А что Надежда Алексеевна? Здорова ли она?

– Слава богу, покорно вас благодарю, – отвечала Лидия Ивановна, – она поехала кататься с бароном в его английском экипаже; они, я думаю, скоро вернутся. Какой прелестный экипаж у барона! – вы не видали этого экипажа? Совершенно как игрушка... И какая лошадь! Удивляться, впрочем, нечего, у барона столько вкуса!

Во время этих восклицаний влюбленный молодой человек, разговаривая с бойкой барышней, все посматривал на Лидию Ивановну, иронически улыбаясь.

– Да! другого такого экипажа нет в Петербурге, – заметил Веретенников и потом обратился ко мне, поправляя свои воротнички: – А я вчера был у графа Петра Николаича... Как

он, батюшка, переменялся, исхудал – ужас!.. однако теперь ему, слава богу, гораздо лучше.

Кто такой был этот граф Петр Николаевич и почему Веретенников полагал, что его здоровье может интересовать меня, я решительно не знал, но спросил:

– Чем же он был болен?

– Как? разве вы не слышали? Страшное воспаление в горле. Он не мог ничего глотать, его жизнь была в опасности. С месяц тому назад мы были вместе на даче у графини Веры Васильевны. Вечер был неслыханно хорош. Графиня вздумала кататься на лодке, а уж граф чувствовал себя не очень хорошо. Я ему и говорю: «Петруша, ты, братец, не ездь, ты можешь простудиться, все-таки сыро... особенно на воде...»

Веретенников, кажется, хотел пуститься в длинную историю. Я предупредил его:

– Да о ком это вы говорите? Кто же это такой граф Петр Николаич?..

– Граф Красногорский! – возразил Веретенников, – двоюродный брат моего зятя, князя Петра... да разве вы его не знаете?.. Pardon! а мне казалось, что я вас встречал у него...

И он от меня обратился к Лидии Ивановне и продолжал ей досказывать, вероятно, прерванный моим приходом рассказ, который так и кишел аристократическими именами.

Я подошел к Алексею Афанасьичу.

– Сколько времени носу не показываешь! как же не стыдно! – сказал он мне с упреком. Алексей Афанасьич и другим своим коротким знакомым говорил иногда ты, когда уж был в очень хорошем расположении духа. – А мы, братец, – продолжал он, – превесело проводим время; у нас всякий день кто-нибудь из добрых приятелей.

Алексей Афанасьич встал, взял меня за руку и вывел на крыльцо.

– Ты знаешь, – начал он, – барон-то ведь почти своим человеком сделался у нас, как ты, ей-богу... И ведь он прекрасный и предобрый человек, простой такой! Это он с виду только кажется таким гордым; ну, да в их кругу у них у всех такие манеры, а я тебе говорю, что он прерадушный, пребесподобный человек! как он смешит нас! Мастер рассказывать... в нем бездна юмора, это совершенно справедливо замечает Иван.

Не трудно было догадаться, что мнение о Щелкалове было внушено отцу сыном.

– Ах, я, братец, главного-то тебе не сообщил! (Старик вдруг весь встрепенулся.) Ты не знаешь новость об Иване-то?

– Нет, что такое?

– Ведь он читал свое сочинение на вечере у княгини Воротынской! Ведь нарочно для него был устроен литературный вечер! Вся знать была, решительно вся! Эффект был такой произведен, что и рассказать нельзя. Все были в восторге, жали ему руки, не верили, чтобы на русском языке можно было так хорошо писать стихи... Княгиня-то умнейшая дама и с величайшим вкусом. Иван говорит, что это просто замечательнейшая женщина, что ее салон напоминает исторические салоны, о которых дошли до нас известия... вот как, например, Рамбулье, что ли? Иван так обласкан княгинею, она так полюбила его!.. У старика закапали слезы.

– Ты ведь знаешь Ивана, он с характером, он достоинства своего не уронит ни перед кем – нет! Заискивать ни в ком не станет; он горд; он нисколько не увлекается этим и те-

перь говорит, что ни за что не поехал бы в большой свет, даже к такой женщине, как княгиня, если бы не предвидел от этого пользы для русской литературы... Это он приносит жертву литературе. И точно, надобно теперь сблизать, братец, общество с литературой, об этом должно заботиться прежде всего... это главное.

Алексей Афанасьич разгорячился, говоря это, и размахивал руками. Мне было несколько и смешно, и тяжело слушать эти нашептанные ему фразы, значение которых он едва ли мог ясно растолковать себе.

– Барон говорит, – продолжал старик все со слезами на глазах, – что Иван всем очень понравился; нашли, что он, кроме таланта, чрезвычайно благовоспитанный молодой человек, умеет держать себя в обществе... Ну, слава богу! это меня радует, наши старания о нем были по крайней мере не даром. Да это все, впрочем, вздор, главное-то талант, это уж от бога! А какой талант-то! Что он написал третьего дня! Он прочтет тебе... Лучше этого ничего еще он не писывал, по моему мнению; так вот мороз пробегает по колее, как слуша-

ешь... Ходит да бродит по полям да по лесам, да вот и выходит этакое стихотворение... Княгиня-то живет на даче, он был у нее там. Какие, говорит, у нее бананы, цветы, бронзы! роскошь неслыханная! Знаешь ли, сколько у нее дохода-то? Около миллиона! Нам с тобой хоть бы десятую долю этого, и тем были бы довольны! Ей-богу, так.

И старик сквозь слезы залился добродушнейшим смехом, ударив меня по плечу.

Когда я возвратился в гостиную, Лидия Ивановна встретила меня вопросом:

– А вы слышали, какой успех имел наш Иван Алексеич в большом свете?

Иван Алексеич как бы с упреком посмотрел на тетушку и, наклонясь ко мне и взглянув на Пруденского, сказал вполголоса с своею вкрадчивою и сладкою улыбкою:

– Все похвалы и восторги этих господ я, право, сейчас променяю на одно умное и дельное замечание доброго приятеля, потому что эти великолепные господа не понимают и не могут ценить искусства так, как мы, простые люди, понимаем его и ценим.

– Dixi! – произнес Пруденский, поправив

свои золотые очки.

Скоро после этого Щелкалов и Наденька возвратились с прогулки. В Наденьке я нашел большую перемену: мне показалось, что она похорошела и что в лице ее было гораздо более живости и одушевления. Щелкалов не изменился ни на волос. Он вошел в комнату, напевая, бросился на стул, положил ногу на ногу, так что носок его сапога коснулся края круглого стола, за которым сидела Лидия Ивановна, осмотрелся в свое стеклышко, увидел меня, промычал свое длинное а-а-а! и протянул мне руку через голову, а я думал: откуда это у тебя, любезный друг, снова английские-то экипажи и лошади? Но впоследствии оказалось, что все это не принадлежало Щелкалову, а было взято им у приятеля и что Щелкалов бросал пыль в глаза, как и всегда, на чужой счет.

– Ваша Надежда Алексеевна, – начал Щелкалов, – большая трусиха; она боится, если лошадь побежит рысью; а моя Бьютти смирна, как ягненок, и выезжена так, что ею может управлять не только такой взрослый и пожилой человек, как я (барон улыбнулся), но

восьмилетний ребенок; к тому же Надежда Алексеевна уверяет, что у нее голова кружится, потому что она не привыкла сидеть на высоте.

Щелкалов обернулся к Наденьке и посмотрел на нее насмешливо.

– Конечно! – возразила, улыбаясь, Наденька, – вы не поверите, ma tante, как это страшно сидеть так высоко!

Я заметил, во-первых, что Наденька кокетничала с Щелкаловым, и, во-вторых, что действительно присутствие его нимало уже не стесняло остальных членов семейства. Щелкалов за чаем даже свысока подтрунивал над Пелагеей Петровной как над известным уже ему лицом; а Пелагея Петровна без малейшей застенчивости, как знакомого, угощала его кренделями и сухарями, да и Макар поглядывал уже на него очень фамильярно, почти как на всех нас.

За чаем Щелкалов вдруг шуточным тоном произнес, обращаясь к нам:

– Знаете, мне вдруг пришла в голову блестящая мысль! Ее надо будет осуществить непременно, а осуществление ее будет зави-

сеть от всех нас, милостивые государи и милостивые государыни!

Все посмотрели на него, а Лидия Ивановна прибавила:

– Говорите, говорите, барон; вы мастер на выдумки. Мы заранее согласны подчиниться вашей фантазии.

Когда Щелкалов заговорил, мне показалось, что Наденька вспыхнула.

– Да-с... ну, так вот в чем дело. Надобно, как можно, разнообразить летние удовольствия. Против этого, я надеюсь, вы спорить не будете?..

– Нисколько, – произнес со сладкой улыбкой Иван Алексеич.

– Тем более, – заметил Щелкалов, – что уже теперь осень. Пруденский и Иван Алексеич захохотали этой остроте.

– Я предлагаю устроить пикник, – продолжал Щелкалов, – место для этого пикника назначается превосходное – Дубовая Роща, удовлетворяющая всем потребностям: там парки, сады, целые леса, озера, отличная поляна и, наконец, весь дом, если хотите, к вашим услугам, потому что его хозяин – мой друг.

– И мой! – перебил Веретенников.

– А управляющий знает меня чуть не с детства, – продолжал Щелкалов. – Мы там охотимся всякую осень; к тому же это недалеко отсюда... не более пятнадцати верст, кажется. Ну-с, как вы об этом думаете?

Мысль эта в самом деле, кажется, улыбнулась всем, потому что, все в один голос воскликнули «прекрасно!», исключая молодого человека, влюбленного в Наденьку, который при этом предложении побледнел так, что бойкая барышня начала махать ему в лицо веером, сложенным из бумаги, и, засмеявшись, сказала довольно громко:

– Что с вами? вам дурно?

Щелкалов, не обращая внимания на эти эпизоды, продолжал:

– Итак, вам эта мысль нравится, судя по вашему одобрительному восклицанию? Теперь остается дело за назначением дня и за устройством всего. Устройство я беру на себя и обещаю вам, господа, что будет все устроено не дурно.

– Можно ли в этом сомневаться! – воскликнула Лидия Ивановна.

– Ай да барон! Ей-богу, молодец! – воскликнул добродушно Алексей Афанасьич и потер себе руки от удовольствия, прибавив: – А там в леску я еще поохочусь за грибками!

– Назначайте же день, – сказал Щелкалов.

– Чем скорей, тем лучше, – возразил Пруденский, – вы теперь, барон, как Гомеров Девкалид, и про вас можно сказать:

«Так говорил он; и все, устремившиеся с духом единым, Стали кругом Девкалида, щиты к раменам преклонивши...»

Цитата пропала даром, потому что Щелкалов даже зрачком глаз не повел в ту сторону, где был Пруденский.

– Я всегда к вашим услугам: во вторник, в среду, четверг, когда хотите.

– В четверг? – сказала Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам. – Угодно вам?

Мы все, кроме влюбленного молодого человека, изъявили согласие наклонением голов.

– Прекрасно! Теперь обратимся к существовавшему – к деньгам. Это не касается до дам, господа, это уж наше дело. Охотников из ваших знакомых, верно, наберется довольно.

Я полагаю, двадцать рублей с человека будет достаточно. Как ты думаешь, Веретенников?

– Я думаю, довольно.

– За двадцать рублей я вас так накормлю и напою, что, надеюсь, вы скажете мне спасибо. Я пошлю к управляющему накануне моего повара, вина, фрукты и прочее. Ну, подавай-ка деньги, Веретенников, – я начинаю с тебя.

Веретенников вынул двадцать рублей и подал их Щелкалову. Щелкалов разложил их на столе, пригладил рукою и посмотрел на нас.

– Вы согласны? Вы из наших? – спросил он, обратясь ко мне.

– Да, – отвечал я, подавая ему деньги.

Пруденский, услышав о цене, наморщился в первую минуту, однако отошел в сторону, вынул деньги, отсчитал двадцать рублей, помуслил палец и потер одну депозитку, которая ему показалась потолще других, полагая, не склеились ли как-нибудь две, и потом, снова пересчитав, подал деньги Щелкалову.

– Камни для фундамента уже есть, – заметил Щелкалов, продолжая складывать депо-

зитки одна на другую и потом разглаживая их рукою.

– А ты-то, братец? что же? – сказал Алексей Афанасьич влюбленному молодому человеку, – если у тебя нет с собой денег, хочешь, я за тебя отдам?

– Нет, я не поеду, я не расположен, – отвечал молодой человек сухо, заметив радость на лице Наденьки, что все так скоро устроилось.

– Вздор, теперь поздно, ведь ты не протестовал против этого, когда говорили.

– Федор Васильич, отчего же? – сладко произнес Иван Алексеич, глядя по плечу молодого человека, – зачем же отставать от друзей?

Бойкая барышня взглянула на молодого человека так нежно, как бы умоляла его согласиться. Он несколько минут колебался и, наконец, решился.

– На сколько же можно рассчитывать? – спросил Щелкалов, – это мне нужно знать заранее. Нас здесь семь человек.

– Еще за пять я вам смело отвечаю, – сказала Лидия Ивановна. – Мы знаете кого можем пригласить между прочим? (Лидия Ивановна

обратилась к Алексею Афанасьичу)... Астраба-
това!.. Не правда ли?

– Почему же нет? Он еще возьмет с собою
гитару, и бесподобно!

– Семь и пять – двенадцать, – продолжал
Щелкалов, – ну что ж, и довольно; а коли най-
дете еще кого-нибудь, тем лучше. Итак, дело в
шляпе. – Щелкалов сунул деньги в карман и
прибавил, оборотившись к нам: – разумеется,
господа, каждый в своем экипаже... собирают-
ся здесь... в четверг, ровно в одиннадцать ча-
сов... так ли? не рано ли?

Щелкалов посмотрел на Лидию Ивановну.

– О, нет, барон! даже еще пораньше не ме-
шало бы, – отвечала она.

– Только во всяком случае не позлее один-
надцати, – прибавил он.

Мы все согласились на это...

– Посмотрите, какая прелесть – луна-то, лу-
на-то! – вскрикнул сзади меня Алексей Афана-
сьич, указывая на луну, которая глядела в ок-
но сквозь ветви сосны, – пойдете, господа,
на крылечко.

И он всех нас вытащил на крыльцо, за ис-
ключением Щелкалова и Веретенникова, ко-

торые остались с дамами.

– А знаете ли что, Иван Алексеич? – сказал Пруденский в то время, как Алексей Афанасьич восхищался луной, – мысль пикника, без сомнения, прекрасна, это не подлежит спору; но цена дороговата, как хотите! Эти господа привыкли швырять деньгами, так им двадцать рублей нипочем, а нашему брату, воля ваша, это чувствительно.

– Правда, правда! – подтвердил Иван Алексеич, почесывая в затылке и поморщиваясь, но потом, сладко улыбнувшись, прибавил: – ну уж куда, впрочем, ни шло! вы не будете после жалеть об этих деньгах. Вы посмотрите, как это все будет устроено; поверьте, барон на это мастер.

– Предполагать должно, но ведь и то сказать, двадцать рублей с брата!

– Вы увидите, что этот пикник не удастся, – сказал мне молодой человек, влюбленный в Наденьку, – все будут женированы, согласия не будет ни малейшего; эти господа, по обыкновению, станут ломаться; поверьте, пикники хороши только между своими, между очень близкими.

Молодой человек был не в духе. Мы вместе с ним раньше всех отправились домой, тихонько от хозяев дома.

– Ну что, – сказал он в волнении, когда мы сели в дрожки, – вы теперь собственными глазами убедились в справедливости моих слов?

– Да, почти, – отвечал я.

– И как вам это нравится! отпускают девочку одну с этим господином! Ну, скажите, прилично ли это?

– Не совсем, – отвечал я.

– А когда гуляют, так он всегда уйдет с ней вперед или отстанет от всех, и никто как будто не замечает этого. Ольга Ивановна – вот эта барышня, что у них гостит, – говорила мне, что Надежда Алексеевна только и бредит этим бароном...

Молодой человек, незаметно увлекаясь, признался мне дорогою, что Надежда Алексеевна ему точно очень нравилась, что и она, по-видимому, была расположена к нему и что он даже имел намерение просить ее руки.

– Теперь я вижу, – прибавил он в заключение своих признаний, – что я сделал бы ужас-

нейшую глупость. Она пустая, ветреная девушка, которую увлекает только один внешний блеск; она помешана на светскости. Этот барон подвернулся на мое спасение, чтобы открыть мне глаза.

Молодой человек в эту минуту был еще все влюблен в Наденьку, потому что он говорил о ней с раздражением и горячностью. Я было вступился за нее, но он не хотел ничего слышать.

– Да что, скажите, – перебил он меня, – что он богат, что ли? Ведь между этими господами трудно отличить богатого от тароватого.

– Это правда, – отвечал я, – но у Щелкалова едва ли есть что-нибудь.

– То-то и мне кажется. Вы знаете, что с месяц назад тому он занял у Алексея Афанасьича две тысячи?

– Кто же это вам сказал?

– Мне сказала Пелагея Петровна, это наверно. Алексей Афанасьич воображает, что у него груды золота. И точно, если судить по его манерам да по рассказам, так сдуру примешь его, пожалуй, за миллионера. Но я боюсь, что бедный Алексей Афанасьич не только капи-

тала, да и процентов-то не увидит!..

– Не мудрено, – возразил я.

На другой день я обедал в ресторане. В одной со мною комнате сидели два господина – военный и штатский. Они разговаривали так откровенно и громко, как будто были одни в комнате. Речь сначала шла о каком-то Коле и о Дарье Александровне. Военный находил, что Дарья Александровна одна из самых хорошеньких женщин в Петербурге. Штатский перебил его.

– Нет, любезный друг, – сказал он, – я недавно видел девочку, так вот девочка! Удивительная, прелесть что такое! перед ней твоя Дарья Александровна просто дрянь... Ты знаешь Щелкалова?

– Еще бы! – отвечал военный, – ну так что ж?

– Я его раза два встретил по парголовской дороге с этою госпожою. Прежде я решительно никогда и нигде не видал ее. Третьего дня он попадается мне на Невском, я и вцепился в него: «Кто это, братец, такая хорошенькая, с которой я тебя встретил?» – «Где? когда?» Он, знаешь, прикинулся, как будто не догадался.

«На парголовской дороге», – я говорю. Тут он промычал «а-а!», остановился на минуту и говорит: «Это одна моя знакомая». Я к нему пристал, ну и он, разумеется, мне во всем признался; но кто она такая и где он скрывает ее, – это неизвестно; уж как я к нему ни приставал, он ни за что не говорит, а чудо что за девочка!

– Каков Щелкалов-то! – воскликнул военный.

– Да, не глуп! – прибавил штатский.

Дальнейшего разговора я не слышал и не желал слышать. В эту минуту я окончил свой обед и вышел из комнаты.

**Глава V, из которой
проницательный читатель
усмотрит многое, во-первых,
что хлыщи бывают
различных родов; во-вторых,
что великосветские хлыщи
в свою очередь робеют и
иногда делаются неловкими;
и в-третьих, что они
разоблачаются и
обнаруживают себя вдруг,
совершенно неожиданно
даже для самих себя, причем
также вполне объясняется
читателю значение не всеми
употребляемого, но
приятного для слуха слова
хлыщ**

В четверг ровно в одиннадцать часов я уже был у Грибановых и нашел там довольно многочисленную компанию. Весь двор был заставлен экипажами. Почти все были в сборе, за исключением Щелкалова и Веретенникова. День был прекрасный, даже довольно жаркий для осени. На небе ни одного облака... Я застал мужчин и дам в разных комнатах: мужчин в зале, а дам в гостиной в ожидании минуты отъезда.

В зале ораторствовал господин небольшого роста, коренастый и уже не первой молодости, завитой, весь в перстнях и в цепях. Это был Астрабатов. Я вошел тихо и остановился, никем не замеченный, потому что все внимание в эту минуту было обращено на Астрабатова.

– Главное – в душе, – говорил он, – остальное все вздор и внимания не стоит. Когда вот эдак, как мы, соберемся по душе, когда все люди подходящие, как натурально и весело, и есть будешь лучше, и пить больше... Ведь вот хоть бы этот старик-то...

Астрабатов с хитрою улыбкою направил свой указательный палец, плоский, широкий

и четверугольной формы, украшенный перстнем с бриллиантовым солитером, на Алексея Афанасьича.

– Это редчайшей души старик, первый сорт, это человек со вздохом, у него всё начистоту, всё на ладони, без задоринки; а ведь иной эдак и вылощен с виду-то, ком иль фо, а попробуй погладить, так и завозишься!..

Астрабатов повел головою кругом и вдруг остановился на мне.

– Вот этот (он пальцем указал на меня), этот тоже подходящий к нам.

Я знал Астрабатова давно, хотя совсем не коротко, и встречался с ним редко. Он говорил мне, как и всем, ты, потому что принадлежал к числу таких людей, которые через полчаса после знакомства с человеком говорят уже ему непременно ты...

– Здравствуй, душенька, – продолжал он, приближаясь ко мне с намерением заключить меня в объятия, – то есть разутешил, что приехал, ей-богу! Ну чмокнемся, братец... Сто лет не видал тебя.

И он обнял меня.

– Черт его знает, – продолжал он, обраща-

ясь ко всем и ударяя меня по плечу, – сам не знаю, за что люблю его... Вот здесь-то у него, правда, горячо, так и пышет!

И он приложил свою широкую ладонь к моему левому боку.

Освободясь от Астрабатова, я поздоровался с хозяевами дома и с остальными гостями.

– Ну, теперь только дело за бароном, – заметил Алексей Афанасьич, – мы все, кажется, в сборе, ведь уж четверть двенадцатого... никак не может не опоздать!.. А пора бы уж и в путь.

Щелкалов и Веретенников приехали около двенадцати.

– Барон, – сказал Алексей Афанасьич, встречая его. – Не стыдно ли, а еще сам все толковал, чтобы собраться ровно к одиннадцати.

– Что такое? разве я опоздал? разве теперь больше одиннадцати? – возразил он рассеянно, важно кивнув нам всем головою и проходя в гостиную, где были дамы.

Астрабатов подошел ко мне и, указав головою на Щелкалова, сказал вслед ему:

– Не узнает! Вишь, как голову-то загнул. Да

нас, брат, этим не удивишь! Мы видали и почище тебя! На плечах-то шелк, а в кармане шелк!.. Ах, душа моя! – продолжал он, кладя мне руку на плечо, – черт ли в человеке, когда у него теплоты нет. Терпеть не могу эдаких...

Веретенников, пожав мне руку и как бы не заметив Астрабатова, стоявшего возле меня, хотел отправиться вслед за Щелкаловым в гостиную. Но Астрабатов схватил его за фалду сюртука.

– Куда! – сказал он ему, – нет, брат, постой! Что у тебя темная вода в глазах, что ли, что ты не видишь старых знакомых?

Веретенников с едва заметной, но иронической улыбкой измерил Астрабатова.

– А-а! здравствуй, – произнес он довольно сухо, – ты как попал сюда?

– Я, брат, везде, где хорошие люди с теплотой!.. Ох, уж вы мне, бонтоны! Туда же шпильки подпускают, да нет, ведь меня не оцарапаешь, не таковской! Я этих загвоздок терпеть не могу, душа моя; по-моему, коли действуй, так действуй начистоту.

– Оригиналы! – воскликнул Веретенников, обратись ко мне, поправив свои воротнички

и принужденно засмеявшись, – неправда ли?.. – И с этим словом ускользнул в гостиную.

Астрабатов проводил его глазами, покачал головой и произнес:

– Положим, что оригинал, да не накрахмаленная обезьяна, как ты!

Он скорчил гримасу и вздохнул, потом взял меня за руку и сказал:

– Пойдем, душа моя, туда за ними, посмотрим на этих бонтонов-то, как они там ломаются перед барынями и отпускают им заколючки на розовом масле. Мы, братец, люди несветские; надо поучиться у них толочь лоделаван в ступе. Мы напрямик; коли заговорило здесь (Астрабатов указал на сердце), так, не думая долго, бух на колени... и без всякой эдакой риторики: «У меня-де сердце на ладони, сударыня; я человек со вздохом», и мы по опыту знаем, душа моя, что это действует на барынь вернее. Как ты думаешь?

Он прищелкнул языком, зажмурил правый глаз, схватил меня за руку и потащил в гостиную.

Там Щелкалов, лежа в волтеровском крес-

ле, с розаном в бутоньерке и с пахитоской в зубах, рассказывал что-то дамам, которые окружили его кресло.

Мы застали его на следующих словах:

– Это была минута ужасная, – говорил он, – лошадь закусила удила и мчала графиню прямо к реке; берег этой реки крутой и почти отвесный; она была уже не более, как шагах в пятидесяти от берега, но в это мгновение я пускаю свою лошадь за нею во весь карьер, не сознавая ничего, нисколько не думая об опасности... Передняя нога ее лошади уж висела над бездной в ту минуту, как я поравнялся с нею. Я схватил графиню одною рукою за талию, перебросил ее к себе на седло и в то же мгновение другою рукою с такой силой осадил свою лошадь, что она совсем грянулась на задние ноги. Я соскочил с нее и положил графиню на землю. Она была, разумеется, без памяти... Ну, в это время к нам подошли остальные: мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнула в реку и тут же пала, разбившись грудью о камни...

Щелкалов, произнеся последнее слово, вставил в глаз свое стеклышко и обозрел сво-

их слушательниц. Лидия Ивановна, барыня, поводящая глазами и передергивающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бойкая барышня с двойным золотым лорнетом, Наденька и другие барыни и барышни – все в один голос невольно ахнули с последним словом Щелкалова: так поразили их его геройский подвиг; а Астрабатов, наклонясь к моему уху, шепнул:

– Да это он, братец ты мой, кажется, лупит чистоганом из не любя не слушай... Ах ты, Малек-Адель эдакой! – воскликнул он громко, глядя на Щелкалова, и потом продолжал, обратясь к дамам: – то есть ух! какой тонкости, я вам доложу, человек по амурному отделению, – беда! Слава богу, десять лет его знаю, не десять дней... Послушай, барон (он снова поглядел на Щелкалова), а помнишь ли трехгоднишнюю лебедянскую сказку? Забыл, что ли?

В голосе Астрабатова слышалось внутреннее раздражение.

– Тогда без Астрабатова не обходился никто... обед ли, ужин ли или что-нибудь эдакое – подавай сюда Астрабатова! Астрабатова

обнимали, качали; Астрабатов, моншер, душу свою отдавал вам без залога и без процентов... Астрабатов, сделай то; Астрабатов, дай это (он указал на карман); Астрабатов, съезди туда; Астрабатов, спой. Астрабатов все делал для вас – и ездил, и хлопотал, и пел... Как заговорит, бывало, тут, в левом боку, сейчас гитару в руки, щипнул два-три аккорда со слезой, да как потом зальешься эдак задушевно, изнутри; так, я думаю, ты сам помнишь, – люди, у которых были нервы из вязиги, – и те, душа моя, рыдали, потому что хоть методы нет, да душа есть, а в душе – главное... Астрабатов – это всем известно – в пять дней пять тысяч рублей серебром просадил. Да! вот каков Астрабатов-то!

Он вынул из кармана огромный сафьянный бумажник и хлопнул по нем рукою.

– Пять тысяч, моншер, вот из этого бумажника вынул, как одну копейку, в пять дней! – потом, вздохнув, прибавил: – В нем-таки перебывало порядочно деньжонок! И нынче, благодаря бога, водятся... А в Петербурге Астрабатова на улице или в гостях встречают: не узнают. Здесь Астрабатов не нужен, потому

что здесь фаетоны да бонтоны, здесь вытанцовывают па-де-дё на столичных деликатно-стях в вершок ширины; а задушевности, моншер, вот отсюда-то идущей, из глубины, теплоты-то этой, – этого не нужно! Все Фребелиусы да Гамбсы, а о чувстве не спрашивай... А в сущности все это помпадурство, по-моему, самое пустое дело.

Астрабатов приостановился на минуту, посмотрел, несколько прищурясь, на дам, удивленных его импровизациею, вынул из кармана пестрый раздушенный фуляр, высморкнулся и сказал, улыбаясь:

– Pardon, mesdames! я человек со вздохом, люблю попросту, без всяких эдаких закорючек, сердечно высказать все, когда закипит внутри; а там, знаешь, каждый получай по адресу...

Щелкалов в первую минуту, когда Астрабатов заговорил, обернулся на этот голос, взглянул на него и потом в продолжение всей его речи измерял его с ног до головы в свое стеклышко с презрительной улыбкой. Когда же Астрабатов кончил, барон захохотал, встал с кресла, протянул ему руку, как бы удостоивая

его особой чести, и сказал, не глядя, впрочем, на него:

– Здравствуй... Ну, что, все такой же, как всегда?.. особенный, свой язык, как ни у кого? оригинально... очень! – И потом, обратясь к Лидии Ивановне, прибавил: – большой чудак! Не правда ли? А я и не знал, что вы с ним знакомы...

Астрабатов значительно посмотрел на него.

– Полно, душенька, эрфи́ксы-то выпускать, – произнес он, – с старыми-то приятелями эдак не встречаются. Вот лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и поцелуемся.

Он бесцеремонно обнял Щелкалова и протянул к нему свои губы. Щелкалов поморщился, не совсем охотно позволил поцеловать себя и потом, отойдя от него, сказал мне:

– Вот, батюшка, тип-то! Не правда ли? Каков молодчик?.. Но как же можно пускать такого господина в дом?..

Вскоре после этого экипажи были поданы и все начали собираться в путь. Перед самым отъездом Астрабатов схватил за руку Ивана

Алексеича, который бежал к коляске с каким-то узлом.

– Постой, душа моя, – сказал он ему, – ты ведь меня знаешь, и мы, кажется, понимаем друг друга. Ты поэт; а я, братец, хоть и не пишу стихов, но здесь у меня в груди кипит поэзия: и слеза, и вздох, и песня – всё тут! Так ли? скажи...

– Еще бы! – возразил Иван Алексеич, крепко пожав руку Астрабатова с свойственным ему сладким выражением, – я знаю, что ты поэт в душе; но пора, братец, ехать; мы и без того уж опоздали... Надо вот еще уложить этот узел...

– Нет, погоди, брат, погоди! – перебил его Астрабатов, – тебе известно, что я действую начистоту, напрямки, этикетки только уважаю на бутылках, а церемоний терпеть не могу; так велика ты, душенька, на дорогу-то подать мне бальзамчику да кусочек черного хлеба с солью. Как набальзамируешь эдак слегка желудок перед обедом, так и аппетит лучше и на душе покойнее, да и от сырости предоохранишь себя. Нельзя без этого. Ведь в воздухе нынче эпидемии так и хлещут!

Астрабатов выпил две большие рюмки водки, крякнул, закусил черным хлебом и произнес:

– Ну, вот теперь хоть на край света!

В это время происходила страшная суматоха. Дамы в шляпах и бурнусах толпились на крыльце и на дорожке палисадника, которая вела к калитке; мужчины – одни кричали своих кучеров, другие отыскивали свои пальто и шляпы; Макар в ливрее травяного цвета с галунами о чем-то очень хлопотал и суетился с необыкновенно серьезным выражением в лице; горничные совались без толку из угла в угол...

Коляска Щелкалова, запряженная четвернею в ряд, которою управлял кучер страшной толщины с огромною крашеною бородою, подъехала первая к калитке. Щелкалов предложил садиться Лидии Ивановне и Надежке и сел напротив них сам с Веретенниковым. Его ливрейский лакей, в красных плюшевых штанах, ловко захлопнул дверцы коляски, оттолкнул Макара, который подсунулся было ему под руку, вскочил на козлы, гордо сел, подбоченясь левой рукой, и закри-

чал: «Пошел!» Когда коляска двинулась, бойкая барышня с лорнетом шепнула что-то влюбленному в Наденьку молодому человеку, который изменился в лице и хоть улыбнулся, но очень печально. Затем все начали рассказывать в свои экипажи.

Мне пришлось ехать с бойкой барышней и с влюбленным молодым человеком. Дорогою я заметил, что между ними происходило что-то особенное. Она как-то необыкновенно выводила глазами, глядя на него, и кокетничала немилосердно, играя своим двойным лорнетом.

Когда мы проехали уже верст пять, сзади нас послышался звон бубенчиков и страшный крик: «Правее! правее! Эй, вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно... Правее!» И вслед за тем пронесся мимо нас, чуть не задев колесом о наше колесо, небольшой охотничий тарантас, запряженный тройкой с бубенчиками и с разными балаболками на сбруе. Этой тройкой правил, стоя, молодой ямщик в плисовой поддевке, в плоской шляпе почти без полей набекрень, украшенной венком разноцветных георгин. В этом тарантасе сиде-

ли Аменаида Александровна с Астрабатовым.

Астрабатов, поравнявшись с нами, вско-
чил на ноги, снял свою бархатную фуражку и,
помахивая ею в воздухе, закричал, обращаясь
ко мне:

– Что, душа моя, какова троечка-то? У ме-
ня, братец, русская душа. Вот она наша поэ-
зия-то!..

Мы приехали в «Дубовую Рощу» в начале
третьего часа. Первое лицо, попавшееся нам,
был Астрабатов, который у подъезда флигеля,
где были приготовлены для нас комнаты, рас-
хаживал с кнутом в руке, всех встречая и хва-
стая своей троечкой и своей русской душой.

Щелкалов, по знакомству с хозяином и
управляющим «Дубовую Рощею», устроил все
с величайшим эффектом и комфортом. Нам
отдан был в распоряжение целый флигель с
пятью комнатами. В первой большой комна-
те, украшенной дубовыми гирляндами, был
накрыт длинный стол, уставленный хруста-
лем, фруктами и цветами; направо две
небольшие комнаты, также все в цветах, на-
значались для дамских уборных; комната на-
лево для мужчин; а в стеклянной галерее за

этой комнатой помещался буфет.

Лидия Ивановна, Наденька, а за ними все остальные дамы поочередно приходили в восторг от вкуса барона и осыпали его благодарностями и похвалами. Щелкалов принимал эти изъявления довольно равнодушно, гордо прохаживался с своим стеклышком, кричал на людей и дружески трепал по плечу толстого управляющего с печатками на животе, который явился к нему узнать, доволен ли он его распоряжениями. Я заметил в то же время, что этот управляющий посматривал на всех нас остальных, на дам и на мужчин, с какой-то подозрительной гримасой недоумения, которую можно было растолковать так: «Да откуда же это таких господ и госпож навез с собою барон? Я таких сроду не видывал».

Иван Алексеич подходил ко всем с своей сладкой улыбкой и с одним и тем же вопросом: «Каков барон-то? Я ведь говорил, что он все сумеет устроить как никто. Оно хотя дороговато, да ведь зато, посмотрите, как все хорошо».

И затем одному он указывал, облизывая губы, на огромную грушу, другому на вазу со

сливами, третьего приводил в буфет, где был выставлен строй бутылок, и так далее.

У Пруденского разгорались на все глаза, и, казалось, он совершенно начинал забывать потраченные им двадцать рублей: поправляя очки, он разглядывал с глубокомысленным вниманием и ананас, и персик; читал на бутылках ерлыки; брал бутылку в руку, рассматривая ее со всех сторон, и улыбался про себя.

Поваренки, бегавшие по двору, также немало занимали его.

– Вишь, – заметил он с удовольствием, – плуты, бегают, и сколько их! Видно, работы-то много! Полагать должно по всему, что нам предстоит недурной обедец, а возлиятельная часть в наилучшем устройстве. Лафит и сотерн под золотыми и серебряными печатями! – И потом продолжал, пародируя Гомера:

Мы будем за пиршеством – Мирно беседу вести; посреди нас цветущая Геба (он указал на проходившую в эту минуту Наденьку) – Нектар кругом разольет... и кубки приемля златые, Чествовать будем друг друга, на лут

сей зеленый взирая...

(При этом он указал пальцем в окно и ослабил самую довольную улыбку.)

Астрабатов ударил его своей широкой ладонью по спине и сказал:

– Полно ораторствовать-то! ведь ты здесь не в школе, а вот выпьем-ка лучше бальзамчику. Слышишь? Я уже хватил дважды перед отъездом и один раз после приезда, да чувствую потребность еще: что-то щемит под ложечкой. Хватим-ка, дружище, по рюмочке.

Пруденский очень поморщился при слове школа, но потом, однако, улыбнулся и отвечал с юмористическим выражением по-малороссийски:

– Добре...

Когда дамы поправили свои туалеты после дороги, все отправились гулять в парк. Барон под руку с Наденькой; молодой человек, влюбленный в нее, с бойкой барышней; Астрабатов с Аменаидой Александровной; остальные врассыпную, в том числе и я. Когда в глубине парка мы очутились с обеих сторон среди густого березняка и когда Алексей Афанасьич увидел гриб, у него так и загорелись

глаза. Он бросился к нему, дрожащей рукой оторвал его от корня, с восторгом вскрикнул: «О, да здесь, я вижу, должно быть, пропасть грибов! Господа, кто хочет со мной на охоту?» И, перепрыгивая с кочки на кочку, как молодой человек, он в минуту скрылся от нас в чаще леса. За ним последовали Пруденский, Иван Алексеич и еще два мне неизвестных господина, а мы отправились далее по дороге парка.

Дорога все шла под гору, и когда мы спустились с горы, направо перед нами открылось озеро, замыкавшееся с одной стороны крутым и лесистым берегом, а с другой болотистым пространством, поросшим частым, высоко вытянувшимся, но тощим березняком и осиною. Почти посредине озера возвышался небольшой остров, густо заросший мелким лесом и кустарником, в зелени которого виднелась беседка, сложенная из березы. У самого спуска к озеру, куда мы подошли, к перилам небольшой пристани привязана была лодочка, и здесь по распоряжению предупредительного управляющего ожидал нас мужик с багром и веслами, в случае если бы кому-ни-

будь из нас захотелось покататься на озере.

Мы остановились здесь, потому что дамы заахали от восхищения, когда перед ними сюрпризом открылось озеро.

– Ах! и лодочка! – воскликнула Наденька.

– А вы не боитесь кататься на лодке? – спросил ее Щелкалов.

– Отчего же? если так тихо, как теперь...

– Ну так поедemте.

– А кто же будет грести?..

– Грести буду я.

– Да разве вы умеете?

– А вот вы увидите. Хотите, что ли?

Наденька в нерешительности посмотрела на Лидию Ивановну.

– Поезжай, мой друг, отчего же? – возразила Лидия Ивановна, – верно, кто –нибудь еще из дам пожелает покататься.

И она обратилась к дамам с приятной улыбкой.

– Ах, нет, как можно! страшно на такой маленькой лодочке! – воскликнули в один голос несколько дам.

Щелкалов, не обращая ни малейшего внимания ни на Лидию Ивановну, ни на этих

дам, велел отцепить лодку, вскочил, в нее, взял от мужика багор и весла и протянул руку Наденьке.

– Ну прыгайте, – сказал он, – докажите, что вы не трусиха и имеете доверенность к гребцу.

Наденька колебалась с минуту и наконец прыгнула в лодку.

– Больше никого взять нельзя, – сказал Щелкалов решительно, – опасно, потому что лодка очень мала. Мы проедемся немного, я выпущу Надежду Алексеевну и потом, если кто-нибудь захочет...

Щелкалов пробормотал последние слова, упираясь багром о пристань и отталкивая лодку от берега, и, не докончив фразу, бросил багор в лодку, снял с себя шляпу, сел, потрянул головой, взмахнул веслами, которые блеснули на солнце, – и легкая лодочка, рассекая синеватую и гладкую поверхность воды, понеслась по направлению к острову. Все это совершилось в одно мгновение, так что никто из нас не успел опомниться.

Для молодого человека, влюбленного в Наденьку, это была, кажется, решительная ми-

нута, потому что он с этих пор почти перестал говорить с нею и начал, вероятно в отместку ей, уже совершенно явно ухаживать за бойкою барышнею с лорнетом.

Мы все остались на берегу, за исключением Аменаиды Александровны и Астрабатова, которые или отстали от нас, или ушли вперед.

Белые облака, густыми грядами теснясь друг к другу, тянулись по небу; солнце вскоре скрылось за ними; синева постепенно пропала с поверхности озера, и оно принимало свинцовый оттенок. Сероватое небо, сероватая вода и мелкий болотистый обредевший лес, со всех сторон окружавший нас, – все это было несколько печально. Говор вдруг смолк, порывистый ветер по временам сильно качал вершинами дерев, с которых слетали пожелтевшие листья, и пробегал рябью по поверхности озера.

Мы молча следили за движением лодочки, и мне, я сам не знал отчего, вдруг стало жаль Наденьку.

Лодка причалила к острову. Мы видели, как Щелкалов выпрыгнул из нее и протяги-

вал руку Наденьке, как Наденька соскочила на землю, как потом Щелкалов привязывал лодку к дереву и как они отправились наконец в глубину острова и скрылись за деревьями.

Это даже подействовало не совсем приятно и на Лидию Ивановну, потому что она сказала очень серьезно и с заметным раздражением в голосе:

– Какие глупости! к чему это они вышли на берег? И начала кричать: «Наденька! Наденька!»

Но крик этот пропал напрасно.

Прошло четверть часа ожидания, но ни Щелкалова, ни Наденьки не показывалось. Потеряв терпение, все разбрелись по парку; остались на берегу Лидия Ивановна, Веретенников и я. Это происшествие расстроило прогулку: дамы несколько надулись на Лидию Ивановну, Лидия Ивановна чувствовала также какую-то неловкость, и когда прошло еще четверть часа, она не могла уже долее скрывать своего волнения.

– Однако это ни на что не похоже, – сказала она, обращаясь к нам. – Peut-on faire des

choses comme ça? Я непременно Наденьке вымою голову. Ну можно ли, что из-за нее все гулянье расстроилось?

Мы начали успокаивать Лидию Ивановну, как умели. Наконец лодочка, к нашему удовольствию, снова пришла в движение, но подвигалась к нам очень лениво; гребец едва шевелил веслами. Мы уж начали махать платками и кричать:

– Скорей! Скорей!

Лидия Ивановна встретила Наденьку очень мрачно. Она обратилась к Щелкалову хотя и с приятною улыбкою, но не без иронии:

– Вы видите, барон, из пятнадцати нас осталось только трое – это самые терпеливые; мы таки дождались вас...

– Что такое? – возразил Щелкалов, – разве мы ездили так долго? Я показывал Надежде Алексеевне беседку на острове. Там такая дичь, что мы насилу добрались до этой беседки... Да разве уж так поздно? Мы опоздали, что ли, куда-нибудь?

– Нет, но это расстроило немного нашу прогулку.

– Отчего? – сказал Щелкалов, – что за вздор! пусть они там гуляют, где хотят; что нам за дело до них, мы будем гулять сами по себе. Не правда ли?

Он засмеялся, поглядел на всех нас, предложил руку Лидии Ивановне и отправился с ней вперед, значительно смягчив этим поступком ее неудовольствие.

Мы пошли за ними. Я взглянул на Наденьку. Она была в большом замешательстве и едва отвечала на мои вопросы.

Обедать было назначено в четыре часа; оставалось до обеда еще три четверти часа, и мы возвратились, по предложению Щелкалова, назад осмотреть комнаты большого дома, где, по словам его, было несколько недурных картин.

Взглянув на эти картины, очень, впрочем, сомнительного достоинства, и пройдя по комнатам, которые были меблированы в новейшем вкусе и не представляли ничего особенно любопытного, мы возвратились в наш флигель.

Щелкалов отправился в столовую осматривать, все ли в порядке. Я пошел вслед за ним.

Он с видом знатока бросил взгляд на стол в свое стеклышко, потом обозрел кругом всю комнату, крикнул раза два на лакеев, велел позвать к себе француза-повара и начал о чем-то его расспрашивать, качаясь на стуле и не смотря на него, но внутренне наслаждаясь теми знаками благоговения, которые оказывали ему повар и вся прислуга.

В столовой давно уже прохаживался Пруденский с Иваном Алексеичем в нетерпеливом ожидании обеда.

Пруденский подошел ко мне и, показывая часы, сказал:

– На моих без пяти минут четыре. Пора бы уже приступить и к трапезе, да, кажется, еще не все в сборе. Посмотрите, Алексей Афанасьич непременно проморит нас, я уверен. Он, чего доброго, до ночи проходит за своими грибами и забудет обо всех нас. Мы с Иваном Алексеичем аукали его, аукали, так и не дозвались. Пожалуй, еще заблудится в лесу. Чего доброго? Уж его ждать невозможно, как хотите: семеро одного не ждут. Сама народная мудрость, выражающаяся в этой пословице, послужит для нас достаточным оправданием

в таком случае.

– Разумеется, папеньку ждать нечего, – возразил Иван Алексеич, прохаживаясь около стола, уставленного разнообразнейшими закусками, и бросая на них жадные взгляды, – старик ведь в самом деле может проходить до вечера; от него это легко станется, он для грибов точно забывает часто обед и все на свете. Посмотрите, Пруденский, какая жирная и белая селедка-то, а с балыка так и каплет! Удивительный балык! Эдаких я не видывал здесь.

– Кажется, все будет хорошо, – сказал Щелкалов, подходя к Ивану Алексеичу.

– У, барон! что и говорить, – перебил Иван Алексеич, придерживая барона за талию обеими руками и бросая на него совсем сахарный взгляд, – мастер, мастер все устроить.

– Таким тонким знатокам в гастрономии, – заметил Пруденский, – позавидовал бы и древний Рим. Вы воскрешаете для нас, барон, лукулловские времена... А уж, признаться, пора бы, совершив омовение и возложив на главы венки, возлечь за пиршественный стол.

Щелкалов вкось взглянул на Пруденского, удержавшись от улыбки, потому что он не хо-

тел достаивать его даже и улыбки.

– Да! ведь уж почти четыре часа, – вкрадчиво произнес Иван Алексеич.

– Обед через четверть часа будет готов, мне сейчас сказал Дюбо.

– А этот Дюбо должен быть художник в своем деле! – опять ввернул свое словцо Пруденский.

– Да ведь, кажется, еще не все собрались? – спросил Щелкалов, по обыкновению не замечая Пруденского и обращаясь к нам с Иваном Алексеичем.

– Я не знаю, – отвечал Иван Алексеич, – но во всяком случае отца ждать нечего; он будет даже очень доволен, что его не ждали, я уж знаю его натуру...

Щелкалов не дослушал Ивана Алексеича и, напевая себе что-то под нос, направил шаги в комнату перед буфетом, сделав знак лакею, чтобы следовал за ним.

– Надо пойти узнать, все ли возвратились, – сказал Иван Алексеич, – и объявить, что обед сейчас будет готов. Ужасно есть хочется, у меня сегодня, кроме чашки кофею, ничего во рту не было.

Иван Алексеич обратился ко мне с своею улыбкою:

– Я, знаете, нарочно ничего не завтракал, имея в виду такой обед.

– И благоразумно поступили! – воскликнул Пруденский, – а я так нарочно по этому случаю два дня диету держал. Мне-то еще больше вашего есть хочется.

И точно, Пруденский должен был чувствовать сильный голод, потому что, ходя по комнате и разговаривая со мною, он не мог отвести своих очков от стола с закусками.

Мало-помалу начинали собираться в столовую по приглашению Ивана Алексеича. В комнату же, назначенную для мужчин, по распоряжению Щелкалова, до обеда не веле-но было никого впускать. Для этого был поставлен даже лакей у двери.

– Да пусти же, братец, хоть на минутку, я забыл там сигарочницу, – говорил влюбленный молодой человек лакею, стоявшему у дверей.

– Никак нельзя-с, – отвечал лакей.

– Это отчего?

– Барон не приказали никого впускать. Мо-

лодой человек вспыхнул.

– Убирайся ты к черту с твоим бароном! – закричал он, оттолкнув лакея, и хотел взяться за ручку замка.

Но лакей встал поперек двери и произнес решительным голосом:

– Воля ваша, сударь, никак нельзя.

Молодой человек начал было горячиться, но мы все бросились его успокаивать.

– Да что ж такое там делается? – спросило несколько голосов у лакея.

– Не могу знать-с.

– Ведь ты врешь, дурак, ты знаешь, говори же! – закричал кто-то.

Лакей глупо улыбнулся и отвечал:

– Не могу знать-с. Шум увеличивался.

В эту минуту вошел Щелкалов. Все обратились к нему.

– Господа, – сказал он, – ваши вещи, которые в той комнате, вам сейчас принесут, но туда не войдет ни один из вас до обеда. Вы меня выбрали распорядителем, следовательно, должны мне повиноваться и верить, что я все устраиваю к вашему же удовольствию.

И, произнеся это с необычайною важно-

стью, он отправился далее.

– Верно, какой-нибудь сюрприз готовится, – сказал Иван Алексеич, провожая приятною улыбкою барона и в то же время близясь к столу с закусками.

Он взял кусочек селедки, положил его в рот и, как будто желая скрыть от других такой преждевременный поступок, начал смотреть в окно, напевая что-то; потом, проглотив кусочек, как ни в чем не бывало, обратился к нам, осмотрел всех и сказал:

– Что ж? Мы теперь, кажется, все на лицо, кроме папеньки?

– Астрабатов нет, – заметил с беспокойством Пруденский.

Иван Алексеич поморщился, но Астрабатов в эту же минуту вошел в столовую.

– Вот легок-то на помине! – закричали ему Пруденский и Иван Алексеич.

– А что?

– Да уж и обедать пора, – отвечал Иван Алексеич, – пятый час в начале...

– Обедать? – возразил Астрабатов, потирая подбородок, – почему ж? это дело подходящее... Ну, душа моя, – продолжал он, обраща-

ясь ко мне вполголоса, – какую мы с этой барыней учинили прогулку, то есть я тебе скажу! Она, знаешь, певица, я ведь тоже певец, так мы там под березками такой дуэтец пропели, что любо-дорого, без фальшу, братец, чудо как согласно! Она было знаешь: «Да я не могу, да я не в голосе», а я ей напрямик: «Полноте, сударыня, я терпеть не могу этих закорючек. Попробуем: споемся – так хорошо, нет – ну на нет и суда нет...» Уж зато как же и спелись, душенька!

Астрабатов приложил пальцы к губам, чмокнул, прищурил левый глаз и прибавил:

– Теперь, братец ты мой, надо пропустить внутрь укрепительной.

За обед сели в половине пятого, не дождав-шись Алексея Афанасьича. В ту минуту, когда дамы вошли в столовую, дверь, охранявшаяся лакеем, отворилась, и хор полковых музыкантов грянул увертюру из «Сомнамбулы». Дамы пришли в неописанный восторг от этого сюрприза, да и кавалеры остались очень довольными. Тайна охраняемой двери была для нас разгадана.

Иван Алексеич с салфеткою в руке и с за-

масленными губами, потому что у него весь рот был набит сардинками, бросился в порыве неудержимого чувства к Щелкалову с намерением, кажется, обнять его, но тот ловко отклонил угрожавший ему поцелуй, и порыв окончился только крепким пожатием рук и сладким взглядом со стороны Ивана Алексеича. Обед и вина были превосходные. Все это вместе с музыкой привело присутствующих в самое веселое расположение духа, а некоторых более нежели в веселое. Еще обед не дошел до половины, как Пруденский начал уже обниматься с своими соседями, а Астрабатов отпускать невероятные любезности сидевшим против него дамам, к счастью, заглушавшиеся громом музыки.

Щелкалов очень неблагоприятно поглядывал по временам в свое стеклышко на тот конец стола, где сидели Пруденский и Астрабатов. Он обратился к Веретенникову и ко мне и, скорчив гримасу, произнес:

– Нельзя сказать, чтобы мы находились в очень избранном обществе. Как вы думаете, господа?

– Да! черт знает что такое! – возразил Вере-

тенников, охорашиваясь и поправляя свои воротнички.

Между тем Иван Алексеич, удовлетворив свой аппетит несколькими блюдами, которые он накладывал в значительном количестве на тарелку, и залив их вином, изъяснил беспокойство об отсутствии папеньки. Лидия Ивановна начала также приходить от этого в некоторое смущение, а Наденька с самого начала обеда с беспокойством посматривала на двери. Наконец в половине обеда, к общему удовольствию, старик появился с двумя огромнейшими котомками, наполненными грибами, весь в паутине.

– Уф! – произнес он, складывая котомки на стул, – как ни торопился, а все – таки опоздал, зато вот вам еще лишнее блюдо.

И он указал на свои грибы.

– Мы никак бы не сели без вас, – заметил Щелкалов, – если бы не ваш сын и не Лидия Ивановна.

– И прекрасно сделали, что не ждали меня, я этого терпеть не могу; а вот я теперь вымоюсь да выпью потом водочки, да и догоню вас. Ведь вы еще не съели всего? Ведь для ме-

ня что-нибудь осталось?.. Да мне, пожалуй, ваших-то утонченных блюд и не нужно. У меня есть свое блюдо.

Старик улыбнулся и потом обратился к Щелкалову:

– А вот ты окажи-ка мне услугу, барон: так как уж ты распорядитель, велика повару-то хорошенько изжарить нам на сковородке эти грибки со сметаной. Грибки все как на подбор молоденькие, свеженькие. Это блюдо будет лучше всех ваших заморских блюд-то, и вы мне за него скажете спасибо, я знаю.

– Превосходная мысль! – воскликнул Щелкалов. – Дюбо жарит грибы удивительно... Послать сюда повара!

Дюбо, низенький и полный, в пышной белой фуражке и в куртке снежной белизны, с огромнейшим перстнем на указательном пальце во вкусе Астрабатова, вошел в столовую и расшаркался перед бароном.

– Что прикажете, господин барон? – сказал он по-французски.

– Приготовьте нам сейчас эти грибы, – сказал Щелкалов, указав на котомки с грибами, – как следует по-русски со сметаной, на сковоро-

родке, помните, так, как вы подали их нам в прошлом году на обеде, который давал граф Красносельский.

– Очень хорошо, господин барон будет доволен.

– Мусье Дюбо, сметанка-то чтобы была эдак поджарена, понимаете? – сказал Алексей Афанасьич на русском языке, поглаживая Дюбо по плечу, – а грибки-то были бы в соку, чтобы не слишком были засушены.

Дюбо посмотрел с любопытством на Алексея Афанасьича и пробормотал:

– Корошо, корошо.

– Вы не беспокойтесь, он знает свое дело, – заметил Щелкалов, которому вмешательство Алексея Афанасьича было не совсем приятно.

Дюбо отправился к тому месту, где лежали грибы, но на полдороге был остановлен Пруденским, который, обтерев губы салфеткою, встал и счел необходимым, пожав руку повара крепко и с чувством, сказать ему по-французски латинским произношением:

– Vous etes un veritable artiste, мусье Дюбо!

– Fichtre! je crois b'en, m'sieur, – отвечал Дюбо с достоинством.

– C'est mon ami! – воскликнул Астрабатов, указывая на Дюбо, и, погрозив ему пальцем, прибавил: – ах ты, плут, француз!

– Ah! bonjour, m'sieur Astrabat! – закричал Дюбо, протянув без церемонии руку Астрабатову.

Алексей Афанасьич между тем обчистился, вымылся и приступил к обеду. Грибы были приготовлены, к совершенному его удовольствию, отлично, и все, кушая их, обращались с похвалами к нему, а он кивал головой и улыбался самой счастливой улыбкой, приговаривая:

– Нет, ей-богу, этот Дюбо молодец! Я никак не ожидал, чтобы француз умел так хорошо готовить грибы!

Когда разлили шампанское, Иван Алексеевич встал, посмотрел на всех нас и начал импровизировать следующие стихи:

Здесь дружба нас соединила, И пир наш весело кипит: В нем есть и блеск, и шум, и сила... Он на минуту остановился и, обратясь к Щелкалову с приятнейшим выражением в лице, продолжал:

Хвала тебе, наш сибарит! Твои – и мысль, и

исполнение... И пир ты создал, как поэт!.. Тебе от нас благодаренье! Тебе наш дружеский привет! Друзья! с поклоном поднимите Бокалы, полные вина, И в честь барона осушите Вы молодецки их – до дна! Последнему стиху Иван Алексеич придал особенную торжественность, выпил свой бокал до дна и с такою силою поставил его на стол, что тот разлетелся вдребезги.

У Алексея Афанасьича при стихах сына, разумеется, тотчас же закапали слезы из глаз.

– Bravo! – раздалось со всех сторон. – Здоровье барона!

– Bravo! – закричал громче всех Пруденский, немилосердно стуча ножом о стол. – Музыканты, туш!

Туш заиграли.

Щелкалов поклонился всем, встал со своего места, подошел к Ивану Алексеичу, пожал ему руку и, обратясь к нам, произнес важно:

– Господа! позвольте мне в свою очередь предложить вам тост... я заранее уверен в этом, он будет принят вами единодушно: за здоровье того, господа, который оживляет и украшает в настоящую минуту своими произ-

ведениями русскую поэзию... за здоровье того, чье имя должно быть дорого всем, кому близко к сердцу родное слово... Я не назову вам этого имени, господа, потому что каждый из вас внутренне назвал его в сию минуту...

– За здоровье Ивана Алексеича! – подхватил Пруденский.

И все бокалы с криками: «Туш! здоровье Ивана Алексеича!» устремились к бокалу растроганного поэта.

В эту минуту Алексей Афанасьич всхлипывал и вместо платка утирал слезы салфеткой.

Затем начались тосты в честь дам, в честь Алексея Афанасьича, какие-то отдельные тосты и даже потом тост в честь повара.

Когда вышли из-за стола, многие, и в том числе Иван Алексеич первый, пристали к Астрабатову с просьбою, чтобы он спел что-нибудь.

Астрабатов обвел всех глазами и, положив руку на плечо Ивана Алексеича, сказал:

– Изволь, душа моя, для тебя спою, ты понимаешь поэзию, у тебя там кипит внутри-то, как и у меня же, я знаю; у нас там, братец ты мой, внутренняя гармоника... ну, вели подать

мою гитару.

Гитара была принесена.

Астрабатов взял ее, щипнул пальцами струны и обвел глазами мужчин и дам.

В ту минуту, когда мы столпились около Астрабатова, управляющий, приходивший за чем-то, остановился и начал взглядывать на него с любопытством из-за плеча Пруденского. Астрабатов тотчас заметил это и, подойдя ко мне, шепнул, поведя на управляющего глазом:

– Это, моншер, что такое за энциклопедия?

Когда я ему объяснил, кто это, он взглянул на управляющего еще раз, положил гитару на стол, почесал в затылке, отодвинул в сторону Пруденского, вытащил изумленного и сконфуженного управляющего вперед и закричал:

– Вина!

Потом осмотрел его с головы до ног, как бы любуясь им, погладил его с нежностью по лысине и сказал, все продолжая рассматривать его:

– Просто душа! (и приложил пальцы к губам). Мы с ним чокнемся и выпьем в знак дружбы.

Управляющий начал кланяться, благодарить и уверять, что не пьет.

– Эти, брат, закорючки ты оставь, я терпеть не могу, – возразил Астрабатов. – Вот тебе бокал!

Он подал ему бокал.

– Ну, пей, пей!.. Вот так, смотри! И он залпом выпил свой бокал.

Управляющий на минуту призадумался и потом последовал его примеру.

Астрабатов поцеловал его.

– Ну, теперь мы друзья, я к тебе еще приеду, душенька, в вашу «Дубовую-то Рощу» поохотиться. Теперь, кажется, посторонних никого нет. Так слушайте, если хотите, я спою вам.

Он взял гитару, задумался на мгновение, откинул назад свои кудрявые волосы, в которых проглядывала уже седина, посмотрел на потолок, как бы ища вдохновения, ударил по струнам и запел, обратившись к дамам и закатив глаза:

На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит, Утро дышит у ней на груди... Тенор Астрабатова не отличался ни свежестью, ни

чистотой, но он был не без приятности; в нем было что-то радражающее, производившее сильное впечатление на тех, которые не были слишком взыскательны в музыке и предпочитали Моцарту и Бетховену всякую русскую заунывную или цыганскую плясовую песню.

И потому, когда Астрабатов кончил, раздались самые искренние «браво» и рукоплескания; в особенности Пруденский и управляющий были сильно растроганы. Даже и Щелкалов с Веретенниковым воскликнули:

– Bravo! прекрасно!

Астрабатов взглянул на них, покачал головою и сказал:

– Да что вы там ни толкуйте, а у Астрабатова есть внутри и слеза и вздох; он вашей ученой музыки не понимает; он не учился там этим разным пунктам да контрапунктам вашим, он самоучка и действует не на голову, а на сердце. Не так ли, mesdames?

Астрабатов, немного прищутив один глаз, ударил по струнам и запел:

Горные вершины: Спят во тьме ночной,
Тихие долины Полны свежей мглой... – Ну, те-

перь, братцы, хоровую, да дружно! – вскрикнул он, становясь в позицию знаменитого Ильюшки, – mesdames, je vous prie.

Он взмахнул гитарой и запел:

Мы живем среди полей И лесов дремучих, – Но счастливей, веселей Всех вельмож могучих... Наши деды и отцы Нам примером служат, И цыганы молодцы, Ни о чем не тужат...

При этом остановился, повел плечами, выставил правую ногу, обвел глазами поющих мужчин и дам, потрянул головою, поднял гитару, махнул ею, и хор грянул:

Гей, цыганы! гей, цыганки! Живо, веселее!.. Хор этот составляли Щелкалов, Веретенников, Надежда Алексеевна и Аменаида Александровна; остальные, кажется, только шевелили губами, да, правда, Пруденский еще подтягивал густым басом.

– Лихо! Аи да барыни! – сказал он, кладя гитару, – да за это вам надо непременно рученьки расцеловать. Дайте-ка приложиться.

Он поцеловал руку Надежды Алексеевны и Аменаиды Александровны и обратился к нам:

– А я вам скажу, что певцу-то следует те-

перь горло промочить. Пойдем-ка, друзья, к этому моншеру в гости.

Он указал пальцем на проходившего буфетчика, взял за руки меня и Щелкалова и потащил нас, говоря Щелкалову:

– Ну-ка, распорядитель, распорядись, чтоб бутылку раскупорили.

Пруденский последовал за нами и, хватая сзади Астрабатова за плечо, кричал:

– Мы, *carissime*, выпьем за твое здоровье.

Когда бутылка была подана, Астрабатов налил четыре стакана. Пруденский, поправив очки, взял свой и воскликнул:

– От души пью за твое здоровье! У тебя дивный голос, проникающий до глубины.

И опорожнил свой стакан разом.

Мы также чокнулись своими стаканами со стаканом Астрабатова и отпили немного.

Астрабатов, выпив свой стакан, снова налил себе и Пруденскому и, остановившись с бутылкой над нашими стаканами, сказал:

– Что же? Ну, допивайте же.

Но ни Щелкалов, ни я не могли более пить и объявили об этом наотрез Астрабатову.

Он вздохнул и посмотрел на нас с выраже-

нием глубочайшего сожаления.

– Ах, вы! (и махнул рукой). Ну, положим, вот этот (он указал на Щелкалова) все выезжает на тонкостях, на экскузе да на пермете, а ты-то, душенька! – он обратился ко мне с упреком, – и ты туда же!.. Что ж, по-вашему, выпить эдак дружески, задушевно с теплым человеком – это не комильфо? Ну да черт с вами, как хотите! Мы выпьем вот с этим... (Астрабатов указал на Пруденского). Он хоть эдакой hic, haec, hoc, а малый-то в сущности с теплотой. Ну, душа моя, – продолжал он, обращаясь к нему, – оставим их, не нравится им вино, пусть пьют воду; de gustibus non est disputandum... так, что ли, по-вашему-то?

Щелкалов благосклонно улыбался, с высоты посматривая на Астрабатова.

– Ваше сиятельство, – сказал лакей (все лакеи везде величали почему-то Щелкалова сиятельным, и он не противился этому), – мусье Дюбо вас просит.

– Что ему нужно? позвать его сюда!

Дюбо явился, с извинениями подошел к барону и что-то шепнул ему.

Барон сделал гримасу.

– Хорошо, – сказал он, – сейчас!

И в ту же минуту обратился к Астрабатову:

– Астрабатов, нет ли у тебя пятидесяти рублей? Я тебе уже отдам. Ему вот нужны за чем-то эти деньги.

Он указал на повара.

Астрабатов украдкой взглянул на меня и кивнул головой на Щелкалова, прищуря глаз, потом вынул свой огромный бумажник, положил его на стол, раскрыл, достал из него пачку ассигнаций, посмотрел на всех нас и сказал, обращаясь к Щелкалову, не без иронии:

– Пятьдесят? Да уж возьми, душа моя, лучше для круглого счета сто.

И он отложил две пятидесятирублевые бумажки.

Первое движение Щелкалова было взять эти деньги; он уже протянул к ним руки, но вдруг глаза его встретились с моими; что-то мелькнуло в голове его, может быть, воспоминание разговора, при котором я присутствовал, – он нахмурил брови и сказал важно:

– К чему мне твои сто рублей? Убирайся с ними. Мне нужно только пятьдесят, чтобы от-
дать ему.

Он взял со стола пятидесятирублевую бумажку и передал ее Дюбо.

– Я тебе отдам эти деньги через полчаса. У меня нет мелких, надо разменять.

– Да что у тебя, серии, что ли, или банковый билет? – возразил Астрабатов. – Давай, моншер, я разменяю.

Но Щелкалов не слышал этого предложения. Он в эту минуту заговорил с кем-то и вышел из комнаты.

Астрабатов проводил его глазами, потер себе подбородок и сказал, обращаясь к нам:

– А напрасно не взял ста, ей-богу, так бы уж я и считал за ним ровно полторы тысячи. Он третьего года проиграл мне в Лебеядни тысячу четыреста, обещал отдать на другой день, да вот так и отдает до сих пор. Да мне деньги – вздор! Я за деньгами не гонюсь, и эти пропадут, я знаю: пусть не отдает, да будь вежлив, нос-то не задирай... Ведь этими эрфиками нынче никого не удивишь! Мы ничего не хуже тебя, брат, еще, пожалуй, посчитаемся родословными-то. Мое происхождение-то идет от персидских шахов, так мы еще чуть ли не почище тебя, душенька!

Астрабатов остановился и посмотрел кругом.

– А француз-то уж улизнул с деньгами...
Подавайте его сюда. Дюбо! Дюбо!

– Monsieur? – раздался голос из коридора.

– Сюда, мусье, сюда поскорей! Дайте-ка нам еще бутылочку. Ну, мусье Дюбо, – продолжал Астрабатов по-русски, кладя свою ладонь на плечо француза, – мы с тобой, душенька, выпьем. Слышишь? Ты уж не отнекивайся. Ведь ты меня знаешь. Возьми стаканчик-то.

Дюбо, улыбаясь, взял стакан и поглядел на нас.

– Monsieur Astrabat шутник... il est tres gai.

– Ты ведь, душенька, артист, – продолжал Астрабатов, прищелкнув языком, – ведь ты не то, что какие-нибудь только фрикасе да финьзербы, нет! ты и плом – пудинг английский и какие-нибудь российские грибки со сметанкой на сковородке представишь в таком виде, что пальчики оближешь. Ну, cher ami, поцелуемся и выпьем еще стаканчик. Вот так! Я вот как женюсь, так возьму тебя к себе в поваря. Слышишь? Уж мы с тобой будем такие банкеты задавать, то есть екски, вот какие...

Астрабатов приложил пальцы к губам и чмокнул.

– Весь город ахнет! Я тебе дам двести целкачей в месяц жалованья. Будешь доволен?

– Tres-bien, tres-bien, – бормотал француз, кивая головой.

– Ну, а теперь с богом проваливай.

Когда Дюбо ушел, Астрабатов зевнул, почесал в голове и потом вскрикнул:

– Хлопец, гитару!.. Что-то там зашевелило внутри, – прибавил он, обращаясь к нам. – Походите-ка, я вам спою эдакую, задушевную.

Он взял гитару и запел:

Полюби меня, дева милая, Радость дней моих, ненаглядная! Если б знала ты весь огонь любви, Всю тоску души моей пламенной!.. Грустно в мире жить одинокому, Без любви твоей, дева милая! Полюби меня, черноокая! Ты звезда души беззакатная! И любовь твоя обовьет меня Своим пламенем упительным, Я умру тогда смертью чудною, И завидною даже рыцарям!

В ту минуту, как Астрабатов смолк, Иван Алексеич вбежал в буфетную.

– Господа, – сказал он, – вас дамы пригла-

шают идти гулять, а в зале, покуда мы гуляем, устроят, что нужно для танцев.

Мы все отправились за Иваном Алексеичем, в том числе и Астрабатов, уже несколько покачиваясь.

Решили пойти в ту часть сада, где мы еще не были, – в беседку на горе, с которой открывался вид на окрестные поля, болота и деревни и откуда была видна далее черта моря у самого горизонта. Здесь, при закате солнца, представлялась картина великолепная, и многие нарочно делали *parties de plaisir* в «Дубовую Рощу», чтоб только посмотреть на закат солнца из этой беседки.

Щелкалов взял опять под руку Наденьку. Он был после обеда в самом приятном расположении духа, сделался очень прост и любезен со всеми, в разговоре относился даже к Пруденскому и два раза предложил ему какой-то вопрос. Мы все шли вместе толпой по широкой дороге парка. Астрабатов рядом с Наденькой. Он беспрестанно перебивал Щелкалова своим балагурством, и барон нисколько не сердился за это и даже часто смеялся от чистого сердца, как и все мы.

– Ах вы, моя барышня! – говорил Астрабатов, прищуриваясь на Наденьку, – то есть просто первый сорт, пышный розанчик в густых сливках, эдакой bouquet de l'Impératrice тончайшего аромата, чтобы нюхать только с осторожностью на коленях в табельные дни... И вы ведь не знаете, – продолжал он, обращаясь к нам, – сколько там, в этой внутренности заложено слез, вздохов, восторгов, эдаких улыбочек, от которых у человека делается боль в сердце и головокружение... какая у нее там эдакая калифорния с музыкой в сердце...

Слушая рассказы Щелкалова, перемешанные с балагурством Астрабатова, мы незаметно дошли до подошвы горы, на которой была выстроена беседка.

Вечер сделался удивительный, даже ни один осиновый листок не шелохнулся. Солнце, выглянув из облаков, за которыми скрывалось, тихо спускалось к безоблачному горизонту, обещая картину заката в полном блеске. Было так сухо и тепло, как в начале лета, и только определенность в очертаниях облаков, сухость в тонах и резкость в колорите заката, да кусты и деревья, местами подернув-

шиеся золотом, пурпуром и темно-вишневым цветом, говорили о наступившей осени.

– Господа, – сказал вдруг Веретенников, с некоторым беспокойством поправляя свои воротнички, – там в беседке на горе какое-то общество. Я вижу мужчин и дам.

– Что ж, очень может быть, – возразил Щелкалов, – кто-нибудь с соседних дач, какие-нибудь немцы прибыли в чухонских таратайках наслаждаться закатом солнца. В хороший вечер тут всегда можно найти каких-нибудь любителей природы.

– Да, это правда, – пробормотал Веретенников, успокаиваясь.

И мы начали подниматься в гору со смехом, с песнями и со стихами, которые декламировали Иван Алексеич и Пруденский.

В нескольких шагах от площадки горы нам послышался довольно ясно французский говор и можно было даже различить голоса, в особенности один мужской, довольно громкий и резкий голос.

Щелкалов вдруг весь изменился в лице и остановился.

– Что с вами? – спросила его Наденька.

– Что ж вы остановились? – кричали им, опережая их.

– Я немного устал, – отвечал Щелкалов, нахмураясь и неохотно продвигаясь вперед.

Я догадывался отчасти, в чем дело, и убедился вполне, что барон, несмотря на свою смелость и заносчивость, не имел ни малейшей способности владеть собой и при всем своем желании никак не мог скрывать своих ощущений.

Мои догадки оправдались, когда, взойдя на гору, я увидел человек восемь мужчин и дам, – мужчин, между которыми красовался господин, изобретший теорию поклонов; дам, при виде которых у Веретенникова захватывало дыхание. Щелкалов должен был встретиться с ними лицом к лицу. Они подъехали к горе с противоположной стороны парка, и экипажи их, стоявшие за горою, не могли быть видимы нами.

Щелкалов взошел на гору, все еще держа Наденьку за руку, и очутился, как нарочно, прямо против одной блистательной дамы, которая из беседки вышла на дорожку.

Я не спускал с него глаз, стоя в стороне.

В первое мгновение он помертвел; глаза его тупо остановились, стеклышко выпало из глаза, рука, державшая Наденьку, опустилась. Он походил на человека, внезапно захваченного в преступлении, которое лишает чести и доброго имени, это было, впрочем, только мгновение, после которого он оправился, вставил в глаз стеклышко, приподнял шляпу и улыбнулся, но такой натянутой улыбкой, которая более походила на гримасу.

– Madame la comtesse... – произнес он, сделав шаг к великолепной даме.

– Est-ce vous, monsieur le baron? – сказала графиня с полуулыбкой, измерив Наденьку с ног до головы беглым взглядом и обведя всех нас остальных головою.

Более я ничего не слышал, потому что барон пошел рядом с графиней, удаляясь от нас и разговаривая с ней очень тихо. Они скоро присоединились к своему обществу и я увидел, как он, совершенно смущенный, начал пожимать руки великолепных мужчин и дам, которые, как можно было догадаться, спрашивали его об нас, потому что в то же время бросали косвенные взгляды в нашу

сторону.

Наденька несколько минут как вкопанная стояла на месте, оставленная своим кавалером.

Веретенников же только что взошел на площадку, как тотчас попятился назад, побежал с горы и скрылся.

Астрабатов показал мне на него.

– И эта раскрахмаленная кукла туда же! – сказал он, качая головой, – прячется в кусты, тоны задает, боится, видишь ли, чтобы его не заметили с нами; мы, душа моя, недостаточно комильфо для него. А ведь я полагаю, что эдакого мухортика и не заметили бы эти Талейраны-то! (Он мигнул на великолепного господина, изобретшего теорию поклонов.) Ну, а что касается до вон этих маркиз, которые кидают на нас эдакие косвенные с подходцем, то они и во сне-то не видали, что такое мусье Веретенников, даром что его четвероюродный брат женат на какой-то мамзели, троюродная сестра которой жила в компаньонках у барыни, которая приходится в седьмом колене родственницей какой-то графине... Чего ж тут в кусты-то прятаться?

Эта встреча вдруг совершенно расстроила все общество; все пришли в какое-то замешательство, всем сделалось неловко, все притихли, все оробели, сами, впрочем, не зная отчего; наши дамы исподтишка с подобострастием начали пожирать глазами тех дам: их шляпки, бурнусы, мантильи, движения, взгляды и прочее. Закат солнца был совершенно забыт.

А между тем солнце уже только вполовину было видно из-за горизонта. Охватив часть леса своим красноватым огнем, оно быстро скрылось, но еще на облаках долго потом отражался закат его резкими красноватыми полосами; и было что-то успокоительное в тишине синеющей ночи, нарушавшейся звонким трещанием стрекозы, и в необозримой дали, исчезавшей в беловатых парах.

Наденька все стояла одна, поодаль от всех, бледная и потерянная, и смотрела в эту даль...

Щелкалова мы не видали более; он не только не подходил ни к кому из нас, но как будто боялся даже взглянуть в нашу сторону и отправился с великолепным обществом.

Мы возвратились в наш флигель уже без

стихов и песен... Дорогою всех говорливее был Астрабатов, всех молчаливее Наденька и Лидия Ивановна.

У порога флигеля нас встретил Веретенников.

– Что, душа моя, – сказал ему Астрабатов, – ты так вдруг как будто в воду канул, а об тебе там все эти княгини и графини очень беспокоились. Они узнали, что ты с нами, и всё говорили: да где же это мусье Веретенников? Подавайте нам мусье Веретенникова!

Астрабатов погрозил ему пальцем.

– Ты, канашка, знаешь, видно, где раки-то зимуют. Тебе подавай все эдаких в амбре, да в валансьенских кружевах!

Веретенников поправил свои воротнички, приподнял голову, взглянул на Астрабатова и пробормотал сквозь зубы:

– Это остроумие, что ли? И потом обратился ко мне:

– А вы слышали, что Щелкалов уехал? говорят, графиня Софья Александровна увезла его с собою.

– Это, я думаю, не совсем деликатно со стороны его, – заметил я.

В самом деле, минут через пять управляющий явился к Лидии Ивановне и объявил ей, что «барон приказали-де очень извиниться перед всеми, что они должны были уехать с их сиятельством графиней Софьей Александровной и что они, дескать, просят г. Веретенникова вместо них распорядиться танцами и всем».

– М-г Веретенников, вы слышали? – сказала Лидия Ивановна с иронической улыбкой, – извольте же исполнить поручение барона. Примите на себя все распоряжения. Верно, уж встретилось какое-нибудь очень непредвиденное обстоятельство, что барон так неожиданно оставил нас.

Лидия Ивановна в высшей степени была оскорблена поступком Щелкалова и едва могла скрывать это; Иван Алексеич пришел от того также в немалое замешательство, тем более, что все приставали к нему с бароном.

– Я, господа, – говорил он, – не отвечаю ни за кого, кроме самого себя. Что мне такое барон? Я всегда знал, что он пустой человек и, как все светские люди, рассеянный; он не может отвечать за себя; но все-таки он имеет

свои достоинства. Притом, что ни говорите, он очень умен, господа!

И Иван Алексеич значительно покачал головою.

Начались танцы, но они шли как-то вяло. Веретенников не умел или не хотел дирижировать ими. Он важно расхаживал по зале, поправляя свои воротнички и по временам взглядывая на себя в зеркало. На бедную Наденьку жалко было смотреть – она усиливалась казаться веселою и беспрестанно изменяла себе. Ее волнение и расстройство бросались всем в глаза. Только две пары веселились от души и танцевали с жаром – влюбленный молодой человек с бойкой барышней, для которой он, казалось, уже совершенно забыл Наденьку, и Аменаида Александровна с Астрабатовым, который, танцуя, выделял различные штуки: поводил плечами и глазами, делал удивительные антраша, прижимал руку своей дамы к своему сердцу и даже становился перед нею на колени.

Несмотря на это, все как-то не клеилось, и мы разъехались в исходе одиннадцатого часа...

С этого дня бог знает какие слухи и сплетни начали распространять про бедную Наденьку.

Прошло две недели после этого пикника. Грибановы уже перебрались в город. Я зашел к ним и нашел все семейство в расстройстве: Наденька была нездорова; Лидия Ивановна не имела той приятности и предупредительности в лице, как обыкновенно; Иван Алексеич был раздражен, и старик даже немного грустен...

После обыкновенных расспросов о здоровье и о прочем Лидия Ивановна с довольно ядовитою усмешкою объявила мне новость о том, что Федор Васильич (молодой человек, влюбленный в Наденьку) уже объявлен формально женихом Ольги Ивановны (бойкой барышни) и что у него есть богатый дядя, который дает ему, говорят, сто тысяч.

– Подцепила женишка хоть куда! – прибавила в заключение Лидия Ивановна, – и не мудрено. Уж такая бойкая особа, что беда!

– А вы знаете, какую штуку сыграл с нами этот барон-то? – сказал Иван Алексеич, ходя по комнате и вдруг остановившись передо

МНОЮ.

– То, что он убежал-то от нас?

– Что! это бы еще ничего! Нет, послушайте. Вчерашний день является к папеньке этот повар француз Дюбо. Папенька, натурально, удивился зачем... Что же оказывается, как вы думаете? Надобно вам сказать, что этот Дюбо теперь без места: он в продолжение нынешнего лета брал на себя устройство пикников, различных загородных parties de plaisir и прочее. Он давно известен почти всей этой богатой молодежи и по ней знает барона и, разумеется, считает его также богачом. Барон адресовался к нему насчет нашего пикника, и Дюбо обязался устроить все самым лучшим образом, как и было, за пятьсот рублей. Барон дал ему сто рублей задатку, да в день самого пикника пятьдесят, – тем все и кончилось. За остальными тремястами пятидесятыми рублями он ходил к нему ежедневно, и барон все говорил «завтра», наконец объявил ему, что еще не собрал деньги, что у него теперь нет своих, что будто бы... слышите?.. папенька взялся собирать и что он ждет этих денег с часу на час, да на другой день и улизнул в Моск-

ву. Дюбо, разумеется, пришел к папеньке, объяснил все: говорит, что он в ужасном положении, что с него требуют и погребщики, и фруктовщики, что на него хотят подать жалобу, и прочее. Хорошо, что у папеньки случилось триста пятьдесят рублей, он отдал последние. Как вам это нравится?.. Папенька сделал еще неосторожность, – прибавил Иван Алексеич, немного приостановившись, – он дал ему две тысячи займы. Вот худо, если эти деньги пропадут, а после всего очень может стать...

– Ну, полно, Иван! – возразил старик, несколько нахмурясь, и махнул рукой. – Бог с ним! Нет, он отдаст все эти деньги... я уверен... немножко замотался, знаешь, да не сумел вывернуться вовремя. Это, конечно, нехорошо; но он поправит все, я уверен. Вы, пожалуйста, только никому не рассказывайте этого, – сказал мне Алексей Афанасьич самым убедительным голосом.

Но я, однако же, не выдержал и все рассказал господину с злым языком. Тот послушал меня, улыбнулся и сказал:

– Я ведь говорил вам, что он кончит дурно.

Теперь еще какая-то Арманс в два дня вскружила ему голову, и он черт знает зачем поехал с нею в Москву. Неисправим, батюшка, ничем не исправим... Впрочем, вы успокойте этого господина Грибанова; его деньги не пропадут, я вам за них отвечаю.

И в самом деле, тотчас по возвращении Щелкалова из Москвы и через несколько дней после того, как я виделся с нашим приятелем, Алексей Афанасьич получил триста пятьдесят рублей, но при самом, впрочем, грубом письме, да еще с наставлениями.

«Я не привык, – писал ему Щелкалов, – чтобы кто-нибудь сомневался в моей чести, – и никому не позволю этого. Вам не следовало платить деньги Дюбо ни в каком случае и вмешиваться в мои с ним счета: отвечал за все я, а отдав ему эти деньги, вы показали свое сомнение в отношении ко мне.

Примите, милостивый государь, уверение в том, что я никогда не был и не буду несостоятельным должником, в чем вы убедитесь, получив аккуратно в день срока деньги, которыми вы меня ссудили, с причитающимися на них процентами.

Имею честь быть...» и прочее.

Алексей Афанасьич нисколько, впрочем, не оскорбился этим: он отдал нам письмо, улыбаясь.

– Спрашивается, как же назвать такого молодца? – спросил глубокомысленно Пруденский, пробежав письмо через свои очки и возвращая его Алексею Афанасьичу.

В числе присутствующих тут в эту минуту находился один господин, чрезвычайно веселый юморист и славный рассказчик.

– Я знаю как, – возразил он. – Это хлыщ! Таких господ надобно непременно звать хлыщами.

– Что такое? – воскликнул Алексей Афанасьич, расхохотавшись, – как? как? повтори-ка еще.

– Хлыщ!

– Да что же такое это значит? Какое это слово? откуда оно? Я первый раз его слышу.

– Ну, об этимологии его вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я не знаю. Это слово сорвалось у меня с языка; но мне кажется, что оно совершенно характеризует такого рода господ, как, например, ваш барон.

Нам всем очень понравилось это слово: мы приняли его без возражений и пустили в ход. Теперь оно, по нашей милости, начинает распространяться.

– Ну, а Астрабатов – это что такое? – спросил Иван Алексеич.

– Это также хлыщ, – отвечал веселый господин, – только барон великосветский хлыщ, а этот – трактирный. Ведь хлыщи бывают различных родов.